This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD LIBRARIES

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

35125

Дозв. ценз. СПБ., 16 Іюля 1902 г. Тип. Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, 9

Графъ Л. Н. ТОЛСТОЙ.

160

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Яз.-лит.

Solov'ev, E. A.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

54560

ГСПБ

Библиотека

Росс. Гос. Б-ка

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева.

Съ портретомъ Толстого, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ.

3-е изданіе.

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.

1902.

PG 3385
S64

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		Стр.
I.	Дѣтство, отрочество и юность	5
II.	Руссо и Нехлюдовщина	35
III.	На Кавказѣ	43
IV.	Подъ Севастополемъ	50
V.	Въ Петербургѣ	60
VI.	Въ Ясной Полянѣ и заграницей	66
VII.	Вторая поѣздка заграницу	71
VIII.	Писательская драма	79
IX.	Семейная жизнь	85
X.	Большіе романы	92
XI.	О пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого	109
XII.	Кризисъ	117
XIII.	Ученіе Толстого	125
XIV.	На вершинѣ славы	144
	Заключеніе	149

ИСТОЧНИКИ.

1. Полное собраніе сочиненій Льва Толстого, изд. 9-ое.

2. Исповѣдь.—Въ чемъ моя вѣра.

3. «Leo Tolstoj», von Löwenfeld. 1. Band.

4. Gespräche mit und über Tolstoj, von R. Löwenfeld.

5. Берсъ.—Воспоминанія.

6. Проф. Загоскинъ.—Студенческіе годы графа Льва Николаевича Толстого. «Истор. Вѣстникъ», Январь 94 г.

7. Статьи: Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, Д. И. Писарева, Н. М. Страхова, С. А. Андреевскаго, Вогюэ, Брандеса, Ціона.

I.

Дѣтство, отрочество и юность.

Въ теченіе XIX-го вѣка нѣсколько лицъ занимали первое мѣсто въ европейской литературѣ и являлись общепризнанными главарями умственнаго движенія. Сначала такое мѣсто принадлежало Гёте, къ каждому слову котораго жадно прислушивался весь образованный читающій міръ; послѣ Гёте долгое время литературный престолъ оставался незанятымъ, пока среди общихъ рукоплесканій на него не возсѣлъ блестящій и нервный Викторъ Гюго. По смерти Виктора Гюго самымъ виднымъ представителемъ и главаремъ является безъ всякаго сомнѣнія «великій писатель земли русской», гр. Левъ Николаевичъ Толстой.

Гр. Толстого знаетъ теперь весь читающій міръ на любой параллели и на любомъ меридіанѣ. Иностранная критика, въ лицѣ самыхъ блестящихъ своихъ представителей, какъ Вогюэ, Цабель, Брандесъ, удѣляетъ ему гораздо больше вниманія, чѣмъ критика русская. Но я не знаю, есть ли въ Россіи человѣкъ, такъ или иначе причастный къ литературной или философской критикѣ, который не обострилъ бы своего пера о произведенія графа Толстого. Не могу припомнить всѣхъ, кто писалъ на эту тему, но если назвать Д. Писарева, Анненкова, Григорьева, Михайловскаго, Скабичевскаго, Протопопова, проф. Козлова, Н. Страхова и т. д.,—то и этихъ именъ достаточно. Есть люди, избравшіе своею спеціальностью пропаганду идей гр. Толстого; есть другіе, преслѣдующіе эти идеи съ ожесточеніемъ и, такъ сказать, по пятамъ, напр. проф. казанскаго университета г. Гусевъ. Въ періодъ 1886—1889 г., и даже позже, нельзя было взять въ руки нумера газеты или журнала, чтобы не натолкнуться на сужденія о Толстомъ. Стоитъ припомнить, какой шумъ произвела «Крейцерова Соната»,—шумъ, на столько всеобщій, что даже музыкальные издатели поторопились выпустить въ свѣтъ эту забытую сонату Бетховена, хотя ни малѣйшаго отношенія ни къ музыкѣ, ни къ Бетховену произведеніе Толстого не имѣло. Все выходящее изъ-подъ пера Толстого вы можете встрѣтить въ

самыхъ разнообразныхъ слояхъ общества: его пьесы даются при дворцѣ, его сказки, азбука и христоматія читаются въ деревняхъ. Теперь мнѣ приходится пользоваться 9-мъ полнымъ собраніемъ сочиненій Толстого. Это небывалый въ Россіи фактъ: Пушкинъ при жизни видѣлъ одно полное изданіе своихъ созданій, Тургеневъ— три, Достоевскій вышелъ въ «посмертномъ».

Не менѣе имени графа Толстого извѣстно и прозвище его родового помѣстья «Ясной Поляны». Кто не былъ, или кому по крайней мѣрѣ не хотѣлось бы тамъ побывать? Заглянемъ и мы туда...

Расположенная въ Крапивенскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи, въ пятнадцати верстахъ отъ города Тулы, имѣніе Ясная Поляна является мѣстомъ, куда постоянно стекаются безчисленные посѣтители и поклонники Л. Н. Толстого.

Ясная Поляна—родовое имѣніе князей Волконскихъ, перешедшее теперь въ родъ графовъ Толстыхъ,—внѣшнимъ своимъ видомъ ничѣмъ не отличается отъ обыкновенныхъ барскихъ помѣстій средней полосы Россіи, и если имя его стало общеизвѣстнымъ, то лишь потому, что здѣсь родился, провелъ свое дѣтство и почти безвыѣздно всю вторую половину своей жизни Левъ Николаевичъ Толстой. «Война и миръ», «Анна Каренина», и всѣ многочисленныя произведенія послѣднихъ лѣтъ: «Исповѣдь», «Въ чемъ моя вѣра», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова Соната» и т. д. были созданы въ Ясной Полянѣ. Какъ Ферней Вольтера или Коппе m-me Сталь или Мекка Магомета, оно извѣстно всему міру.

Ясная Поляна, ея веселое и живописное положеніе, окружающій ее огромный казенный лѣсъ «Засѣка», самая усадьба съ вѣковыми липовыми аллеями, посаженными прадѣдомъ княземъ Волконскимъ, четыре пруда и вѣчно запущенный барскій садъ, обнесенный валомъ, описывались десятки разъ, какъ русскими, такъ и иностранцами. Про двѣ круглыя кирпичныя башни, стоящія въ замкѣ вала, возлѣ которыхъ когда-то, въ началѣ вѣка, постоянно дежурилъ часовой, свидѣтельствуя своимъ присутствіемъ о знатности помѣщика, генерала временъ Павла I-го,—знаютъ одинаково и у насъ, и въ Европѣ, и въ Америкѣ. Теперь эти старыя кирпичныя башни полуразрушены, обросли мхомъ, а наслѣдникъ гордаго генерала и князя Волконскаго, въ простой рабочей блузѣ синяго цвѣта и высокихъ сапогахъ, бесѣдуетъ съ своими посѣтителями и поклонниками о жизни по ученію Христа и тайнѣ смерти, «отстранить которую отъ себя не можетъ человѣкъ никакими грозными каменными башнями, никакими вѣчно дежурящими часовыми».

Въ Ясной Полянѣ возвышался когда-то почтенный барскій домъ съ безконечной амфиладой залъ и комнатъ, гдѣ старое барство, окруженное покорною толпой холоповъ, питало свою гордость громадными доходами и безмѣрною властью надъ крѣпостными подданными. Почтенный барскій домъ сгорѣлъ уже давно, и вся усадьба состоитъ теперь изъ двухъ флигелей, изъ которыхъ въ одномъ живетъ гр. Толстой со своимъ семействомъ, очень многочисленнымъ, а другой предназначенъ для паломниковъ Ясной Поляны и гостей.

Флигель, занятый семействомъ графа Толстого и имъ самимъ,— двухъ-этажный, очень простой архитектуры и безъ всякихъ украшеній снаружи. Внизу находятся: кабинетъ графа, его библіотека и спальня. Нигдѣ и ни въ чемъ не замѣтно даже слѣдовъ роскоши и того милліоннаго состоянія, которымъ обладаетъ хозяинъ. Напротивъ, обстановка помѣщенія поражаетъ своей простотой, и лишь портреты предковъ, развѣшанные въ залѣ верхняго этажа, говорятъ еще, что посѣтитель находится въ гнѣздѣ стариннаго барства.

Кабинетъ самого Л. Н. Толстого напоминаетъ комнату прилежнаго и небогатаго студента. Столъ, нѣсколько стульевъ, диванъ, этажерка—составляютъ всю мебель. Въ углу стоитъ бюстъ давно умершаго старшаго брата Льва Николаевича, Николая Толстого; по стѣнамъ развѣшано нѣсколько картинъ. Между этими послѣдними есть портретъ Шопенгауэра и фотографически снятая въ 1856 году группа русскихъ писателей: Толстого, Григоровича, Гончарова, Тургенева, Дружинина и Островскаго. На этой группѣ Л. Н. Толстой изображенъ въ военномъ мундирѣ, съ скрещенными на груди руками; въ выраженіи всей его гордо выпрямившейся фигуры, а особенно въ небрежномъ взглядѣ вдумчивыхъ глазъ есть, какъ намъ показалось, что-то Лермонтовское. Группа любопытна: писатели земли русской не часто бываютъ вмѣстѣ, еще рѣже живутъ дружно между собой; и правда—черезъ немного лѣтъ послѣ 56-го года Гончаровъ разссорился съ Тургеневымъ, Тургеневъ хотѣлъ драться на дуэли съ Толстымъ... Но тогда еще все обстояло мирно и дружелюбно.

Библіотека графа богата и заключаетъ въ себѣ сочиненія на 6-ти или 7-ми языкахъ, которыми Л. Толстой свободно владѣетъ. Здѣсь можно найти всѣхъ классиковъ русской литературы и массу сочиненій по богословію. Наперекоръ духу конца нашего вѣка, Тертулліанъ и Василій Великій замѣняютъ собой Дарвина и Маркса, а

холодныя, огромныя книги Спенсера уступили свое мѣсто толкованіямъ Евангелія.

Самъ хозяинъ и кабинета, и библіотеки, графъ Толстой, свободно допускаетъ къ себѣ каждаго, кто вздумаетъ придти или пріѣхать къ нему. Онъ никогда не отказывается отъ разговора и поученія, и для всякаго у него есть, если не ласковое слово утѣшенія, то по крайней мѣрѣ всегда искреннее и правдивое слово. Слишкомъ многочисленные посѣтители быть можетъ и утомляютъ его, но графъ не жалуется. Не жалуется онъ и на то, что многіе изъ этихъ посѣтителей вкривь и вкось разсказываютъ о своихъ съ нимъ бесѣдахъ въ различныхъ журналахъ и газетахъ. И назойливость, и ложь исчезаютъ какъ незамѣтная мутная струя въ морѣ обожанія и восторга, окружающемъ графа Толстого. Это обожаніе и восторгъ растутъ изо-дня въ день, и наперекоръ общему правилу растутъ по мѣрѣ того, какъ мы ближе знакомимся съ жизнью писателя и даже семейной его обстановкой. Въ этой жизни, какъ кажется, нѣтъ уже болѣе тайнъ: самъ графъ Толстой не считалъ нужнымъ скрывать ничего, что касается его лично. Увлеченія и ошибки своей молодости, свои душевныя муки, едва не доведшія его до самоубійства, онъ подробно и страстно описалъ самъ въ своихъ произведеніяхъ. Его поклонники, какъ Левенфельдъ, родственники, какъ Берсъ, разсказываютъ намъ объ обстановкѣ его жизни, которую видѣли собственными глазами. «У меня ни отъ кого на свѣтѣ нѣтъ никакихъ тайнъ! пусть всѣ знаютъ, что я дѣлаю, если хотятъ»—часто говорилъ Л. Толстой.

Эти его слова между прочимъ и позволяютъ намъ приступить къ его біографіи.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой родился 28 августа 1828 г., слѣдовательно теперь онъ перешелъ уже предѣльный возрастъ, до котораго доживали русскіе писатели, за исключеніемъ очень немногихъ, напр. Державина, и однако ни его физическія силы, ни творческій геній не ослабѣли замѣтно: достаточно вспомнить, что всего 5 лѣтъ тому назадъ было создано «Воскресеніе», многія сцены котораго могутъ идти вровень съ лучшими сценами «Войны и Мира».

Родоначальникомъ Л. Н. Толстого былъ современникъ и другъ Петра I-го, пожалованный за свои заслуги и между прочимъ за измѣну царевнѣ Софіи—Петръ Андреевичъ Толстой, потомокъ выходца изъ Пруссіи, носившаго прозваніе Dick, что по-русски и зна-

читъ «толстый». Отсюда и фамилія—Толстые. Графъ Петръ Андреевичъ занималъ важный дипломатическій постъ—былъ посломъ въ Константинополѣ, не разъ сиживалъ въ Семибашенномъ замкѣ въ случаѣ разногласія султана и императора, и по смерти завѣщалъ своему роду хорошее состояніе и легкую карьеру при дворѣ.

Браки Толстыхъ всегда были аристократическіе, безъ малѣйшаго признака mésalliance'а. Напр. мать Льва Николаевича—княжна Волхонская, бабушка—княжна Горчакова; бабушка по матери—княжна Трубецкая и т. д. Волхонскіе, Горчаковы,—прямые потомки Рюрика и владѣтельныхъ рюриковичей. Самъ графъ Левъ Николаевичъ внѣшностью своей сильно напоминаетъ своего дѣда князя Николая Андреевича Волхонскаго («въ Войнѣ и Мирѣ» Болконскаго), хотя значительно крупнѣе его фигурой. «У обоихъ открытый и высокій лобъ съ творческими шишками; музыкальныя шишки, далеко выдающіяся впередъ, покрыты густыми отвисшими бровями, изъ-подъ которыхъ точно проникаютъ въ чужую душу небольшіе и глубоко сидящіе сѣрые глаза». Значитъ вполнѣ правъ былъ графъ Толстой, когда впослѣдствіи, до вѣроученія впрочемъ, онъ находилъ источникъ гордости своей въ томъ, что онъ—«чистый аристократъ». Кровь Толстыхъ на самомъ дѣлѣ въ теченіе почти двухъ столѣтій была чиста отъ всякой примѣси какихъ нибудь разночинныхъ элементовъ. Портреты, украшающіе залу яснополянскаго дома, принадлежатъ всѣ безъ исключенія титулованнымъ особамъ, князьямъ и графамъ, въ звѣздахъ и лентахъ, генераламъ и тайнымъ совѣтникамъ. Родовое дерево князя Волхонскаго поддерживаетъ святой Михаилъ, князь Черниговскій, погибшій когда-то смертью мученика въ ордѣ. Традиціи, унаслѣдованныя Толстымъ,—это традиціи стараго русскаго барства,—обстоятельство, какъ мы это ниже увидимъ, далеко не лишенное интереса и своеобразнаго значенія. Это «старое барство» при Петрѣ Великомъ, переименованное изъ бояръ, стольниковъ, окольничьихъ и т. д. въ совѣтники различныхъ категорій, стригло себѣ волосы, брило бороды, одѣвалось въ нѣмецкое платье, ѣздило въ заморскія страны,—мечтало объ «огражденіи правъ своихъ» и быть можетъ о чемъ-нибудь даже большемъ при Петрѣ II и Іоаннѣ VI,—вынесло жестокую ферулу Бирона при Аннѣ Ивановнѣ, расплатившись полностью за свои конституціонныя мечтанія,—достигло небывалаго расцвѣта при дворѣ Екатерины, гордо замкнулось въ своихъ усадьбахъ при Павлѣ Петровичѣ,—стояло впереди русскаго общества при Александрѣ I, впервые проникшись тутъ духомъ народолюбія и западными просвѣти-

тельными идеями, и оказалось почти не у дѣлъ въ царствованіе императора Николая. Умственный расцвѣтъ этого стараго барства— первая четверть нашего вѣка,—эпоха, къ которой всегда съ особенной любовью обращался графъ Толстой, почерпнувъ изъ нея содержаніе своей геніальной эпопеи «Война и Миръ» и начатыхъ, но неоконченныхъ «Декабристовъ». Старое барство безпокойно волновалось тогда, искало правды и обновленія въ масонствѣ, мистицизмѣ «дѣятельной добродѣтели»; составляло глухую оппозицію Аракчееву, Магницкимъ и Руничамъ, и послѣ безумныхъ по полному отсутствію какой бы то ни было программы декабрьскихъ дней опять затолкалось и заинтриговало на дорожкахъ военной или придворной карьеры. Своеобразная сословная гордость отличала это старое русское барство, и для лучшихъ его представителей мужикъ и народъ были несомнѣнно всегда ближе, родственнѣе и понятнѣе, чѣмъ разночинецъ, торгашъ или иной какой нибудь представитель третьяго сословія. Свою антипатію къ этимъ новымъ элементамъ русскаго общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народолюбіе, старое барство стало высказывать уже со временъ Радищева, и не разъ высказывалъ ее, какъ мы увидимъ ниже, и графъ Л. Н. Толстой.

Отецъ графа Л. Н. Толстого, подполковникъ Павлоградскаго гусарскаго полка, Николай Ильичъ Толстой участвовалъ въ кампаніи 12-го и 13-го годовъ. Видный, плѣнительный мужчина, пользовавшійся большимъ успѣхомъ въ свѣтѣ, онъ получилъ отъ отца своего, графа Ильи Андреевича, совершенно разоренное состояніе. Чтобы не положить тѣни на память отца, онъ, какъ Николай Ростовъ въ «Войнѣ и Мирѣ», удовлетворилъ всѣхъ кредиторовъ и остался совершенно не причемъ. На рукахъ его была старая мать, урожденная княжна Горчакова, привыкшая, разумѣется, къ роскошной и не думающей о завтрашнемъ днѣ жизни, и родственница Т. А. Ергольская, впослѣдствіи воспитавшая Льва Николаевича и жившая съ нимъ до самой смерти. На скромное жалованье офицера Николай Ильичъ существовать не могъ, и родственники его для поправленія обстоятельствъ прибѣгли къ обычному средству стараго барства и женили его на немолодой, некрасивой княжнѣ Марьѣ Ивановнѣ Волконской, единственной наслѣдницѣ одного изъ богатѣйшихъ русскихъ вельможъ. Эта семейная исторія послужила впослѣдствіи канвой для другой исторіи, съ такой поэтической прелестью разсказанной въ «Войнѣ и Мирѣ». Разореніе семейства Ростовыхъ, разсчетъ съ кредиторами, выходъ Николая Ростова въ отставку, его женитьба на некрасивой княжнѣ Волконской извѣ-

стны всякому русскому читателю. Но дѣйствительность преломилась сквозь призму поэзіи, и, идеализируя преданія своей семьи и стараго барства вообще, графъ Толстой ввелъ цѣлую любовную эпопею между Николаемъ Ростовымъ и Марьей Волконской, почему на страницахъ романа бракъ является устроеннымъ по любви, а не по разсчету. Каковъ-бы однако онъ ни былъ, бракъ оказался вполнѣ пристойнымъ. Родители Льва Николаевича жили преимущественно въ Ясной Полянѣ, и семейная жизнь ихъ протекала счастливо и безмятежно. Графиня Толстая, мать Льва Николаевича, умерла въ 1831 г., когда ея сыну было всего три года съ небольшимъ. 6 лѣтъ спустя сошелъ въ могилу и графъ Николай Ильичъ, и будущій великій писатель 9-ти лѣтъ отъ роду остался круглымъ сиротой.

Что были за люди родители графа Толстого, мы знаемъ очень мало. Портреты ихъ въ «Войнѣ и Мирѣ» (Николай Ростовъ и Марія Волконская) очевидно идеализированы, чтобы можно было положиться на нихъ, какъ на документъ. Въ романѣ Николай Ростовъ—прекрасный хозяинъ, влюбленный въ свою жену, духовность и нѣжность ея натуры,—человѣкъ недалекій, недолюбливающій разсужденій и неумѣющій разсуждать,—прекрасный офицеръ и завидный служака, успокоившійся на томъ, что для разсужденій поставлены другіе, высшіе его,—и вмѣстѣ съ тѣмъ честная, открытая, непосредственная натура, обаяніе которой—въ ея правдивости, хотя и узкой. Такой же характеръ и у Вронскаго. Въ этихъ натурахъ нѣтъ разума, но есть разсудительность; нѣтъ героизма, но есть мужество; нѣтъ справедливости, но есть честь и честность. Они—исполнители, и мѣсто самостоятельнаго мышленія для нихъ замѣняютъ приказанія и указанія. Что именно такимъ не былъ отецъ Льва Николаевича, это можно утверждать навѣрное, и одинаково навѣрное можно утверждать, что во многомъ портретъ и подлинникъ схожи между собою. Графъ Николай Ильичъ во всякомъ случаѣ не былъ творческой натурой, что никакъ нельзя сказать о его женѣ. Про эту послѣднюю разсказываютъ, что «когда она, въ молодости, бывала на балахъ, то собирала вокругъ себя въ уборной молодыхъ дѣвушекъ и занимала ихъ ею же выдуманными сказками. Напрасно ждали кавалеры въ большой залѣ своихъ дамъ: тѣ не могли оторваться отъ сказокъ княжны Волконской». Въ «Войнѣ и Мирѣ» княжна Марья, некрасивая и слезливая, очерчена однако такими нѣжными штрихами, что вся ея фигура является сотканной изъ тончайшихъ нитей и производитъ впечатлѣніе чего-то неземного, высокаго и истинно-христіанскаго, не смотря на суевѣріе и

пристрастіе къ странницамъ и легендамъ. Болѣзненная даже духовность натуры, воображеніе, мистически настроенное, жажда самоотреченія и самопожертвованія, чудная привѣтливость и мягкость характера, порывъ къ небу и вѣчное стремленіе уходить со своими мечтами въ міръ, гдѣ нѣтъ болѣзни и печали,—всѣмъ этимъ графъ Толстой надѣлилъ тотъ образъ, въ которомъ онъ хотѣлъ изобразить свою мать. И вообще всякая женщина, при созданіи которой графъ Толстой жилъ нѣжными воспоминаніями о своей безвременно умершей матери, является у него человѣкомъ не отъ міра сего, натурой мечтательной и съ экзальтированнымъ воображеніемъ, про какихъ говорятъ: не «умираютъ онѣ, а улетаютъ на небо».

По смерти матери, воспитаніемъ дѣтей—четырехъ мальчиковъ и одной дѣвочки, совсѣмъ крохотнаго ребенка,—занялась дальняя родственница Толстыхъ, Ергольская. Въ 1837 г. вся семья переѣхала изъ Ясной Поляны въ Москву, такъ какъ старшій братъ Льва Николаевича, Николай, долженъ былъ готовиться въ университетъ; но лѣтомъ того же года скоропостижно умеръ графъ Николай Ильичъ, оставивъ послѣ себя пять человѣкъ дѣтей и очень разстроенное состояніе. Для сокращенія расходовъ часть семьи съ Ергольской вернулась опять въ Ясную Поляну. Дѣтей, разумѣется, учили, и учителями были и гувернеры-нѣмцы—одинъ изъ которыхъ достигъ безсмертія подъ именемъ Карла Ивановича въ «Отрочествѣ»,—и русскіе семинаристы въ тиковыхъ сюртукахъ, съ удареніемъ на «о».

По свидѣтельству покойной тетки Льва Николаевича, П. И. Юшковой, «въ дѣтствѣ онъ былъ очень шаловливъ, а отрокомъ отличался *странностью*, а иногда *неожиданностью* поступковъ, живостью характера и прекраснымъ сердцемъ» (Берсъ).

П. И. Юшкова разсказывала Берсу, что «однажды въ пути на почтовыхъ лошадяхъ, когда всѣ уже усѣлись въ экипажи, стали искать Льва Николаевича, который былъ тогда мальчикомъ. Въ это время голова его высунулась въ окнѣ станціи со словами: «ma tante, я сейчасъ выхожу!» Половина головы его была обстрижена. Фантазія обстричь голову во время короткой остановки повидимому не объяснялась никакою надобностью.

Самъ Левъ Николаевичъ разсказывалъ при Берсѣ въ семейномъ кругу, что въ дѣтствѣ, лѣтъ семи или восьми, онъ возымѣлъ страстное желаніе *полетать по воздуху*. Онъ вообразилъ, что это вполнѣ возможно, если сѣсть на корточки и обнять руками свои колѣна; при этомъ, чѣмъ сильнѣе сжимать колѣна, тѣмъ выше можно по-

летѣть. Мысль эта долго не давала ему покоя, и наконецъ онъ рѣшился привести ее въ исполненіе. Онъ заперся въ классную комнату, влѣзъ на окно и въ точности исполнилъ все задуманное. Онъ упалъ съ окна на землю съ высоты около двухъ съ половиной саженей, отшибъ себѣ ноги и не могъ встать, чѣмъ не мало напугалъ домашнихъ. Таковы немногіе—(слишкомъ даже!)—подлинные факты изъ дѣтства великаго писателя.

Это время уже послужило Толстому темой для его перваго произведенія «Дѣтства», напечатаннаго въ «Современникѣ» 1852 года. Разумѣется, какъ во всемъ, что вышло изъ-подъ пера Толстого, такъ и здѣсь, правда и вымыселъ переплетаются; но можно замѣтить, что въ художественной фантазіи Толстого есть одна характерная черта: всѣ свои усилія она сосредоточиваетъ не на томъ, чтобы отдѣлиться отъ дѣйствительности, а напротивъ, чтобы освѣтить и одухотворить ее. Въ большинствѣ произведеній Толстого героемъ является онъ самъ, его собственное душевное настроеніе, несомнѣнно имъ пережитое и перечувствованное. На эти произведенія мы смѣло можемъ положиться, какъ на автобіографическіе документы изъ области духовной жизни писателя.

Герой «Дѣтства», Николинька Иртеньевъ, въ разсказѣ, который ведется отъ его лица, знакомитъ насъ со всѣми своими дѣтскими впечатлѣніями и лицами, его окружавшими. Мать и отецъ, нѣмецъ-гувернеръ Карлъ Ивановичъ Мауэръ, братъ Володя и сестра Любочка, нянька Наталья Савишна, юродивый Гриша—всѣ эти люди описаны съ удивительной художественностью, и ихъ разговоры, развлеченія, поступки переносятъ насъ въ давно минувшую эпоху стараго барства, его привольнаго, а подчасъ и разнузданнаго житья. Передъ нами семейная жизнь, гдѣ соблюдены всѣ приличія, гдѣ внѣшній лоскъ закрылъ ея зло и неправду, — страдалица мать, мистическая и экзальтированная натура, — принципы порядочнаго комильфотнаго существованія, безпечнаго и не одухотвореннаго ничѣмъ высокимъ.

Самъ Николинька, наслѣдовавшій отъ матери свою впечатлительность, свою наклонность къ мечтанію, свою неуравновѣшанную талантливую натуру, — полностью обрисованъ въ первыхъ же сценахъ.

Онъ просыпается съ «разстроенными нервами» и чувствуетъ себя до глубины души обиженнымъ тѣмъ обстоятельствомъ, что его добродушнѣйшій гувернеръ Карлъ Ивановичъ неловко убилъ хлопушкой муху надъ его кроваткой. За чувствомъ обиды какъ-то сразу слѣ-

дуетъ раскаяніе, а затѣмъ слезы. На вопросъ, почему онъ плачетъ, мальчикъ сказалъ, что «плачетъ отъ того, что видѣлъ дурной сонъ: будто—maman умерла, и ее несутъ хоронить». Все это онъ выдумалъ, но когда Карлъ Ивановичъ, тронутый разсказомъ, сталъ утѣшать и успокаивать его, ему показалось, что онъ точно видѣлъ страшный сонъ, и «слезы полились уже отъ другой причины». Но еще нѣсколько минутъ, и мрачное настроеніе смѣнилось безпричинной веселостью и шаловливостью. За какихъ-нибудь полчаса и гнѣвъ, и обиженность, и раскаяніе, и слезы, и веселье.

«Мальчикъ въ классной. Отсюда изъ оконъ направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало, покуда поправляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ,—такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть: Богъ знаетъ отъ чего и о чемъ такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки».

Уже по этимъ и имъ подобнымъ сценамъ вы видите передъ собой даровитую, неуравновѣшанную натуру, съ удивительно чуткими нервами, себялюбивую и увлекающуюся, не умѣющую ни на іоту владѣть собой и сосредоточиваться на томъ, что̀ нужно и приказано. Неожиданные рѣзкіе переходы отъ одного къ другому, преобладаніе чувствительности, застѣнчивость съ одной стороны, желаніе всѣмъ нравиться и стать на первомъ планѣ съ другой — подготовляютъ читателя къ будущему, гдѣ ребенка ждетъ столько ошибокъ, увлеченій, разочарованія, столько мучительныхъ минутъ раскаянія и сокрушенія о грѣхахъ своихъ.

Мучительный разладъ между мечтою и дѣйствительностью, т. е. тотъ самый, который впослѣдствіи такъ тяжело далъ себя почувствовать Толстому,—начался очень рано уже въ дѣтскіе годы: мальчику хочется сидѣть на балконѣ вмѣстѣ съ большими, а вмѣсто этого его заставляютъ въ классной заниматься діалогами и диктантами; онъ хочетъ всѣмъ нравиться, быть находчивымъ, выдержаннымъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ свою полную неприспособленность къ этому; его мучаетъ даже некрасивое лицо, непокорные вихрастые волосы, широкій носъ, маленькіе сѣрые глаза. Спасеніе отъ всѣхъ этихъ бѣдствій онъ ищетъ въ мечтѣ, которой предается до одуренія, до полнаго умственнаго наркоза. Онъ еще не знаетъ

страданія, но слишкомъ уже хорошо знакомъ съ грустью и даже любитъ грустить, любитъ уходить въ созерцаніе и смакованіе собственнаго своего подчасъ выдуманнаго страданія, и вы чувствуете, какъ будущій князь Нехлюдовъ—этотъ ненужный и неумѣлый, хотя и порывисто благородный баричъ, подготовляется въ обстановкѣ, гдѣ родился и росъ Николинька Иртеньевъ.

Въ 1840 г. умерла опекунша сиротъ Толстыхъ, графиня Остенъ-Сакенъ, и опека перешла къ ихъ теткѣ П. И. Юшковой, жившей съ мужемъ въ Казани, куда и переѣхала вся семья Толстыхъ. Въ Казань же перешелъ изъ московскаго университета и старшій братъ Николай.

П. И. Юшкова, богатая, знатная дама, принимала въ своей гостиной все «лучшее общество», и въ ея домѣ уже не было и помину о простой ясно-полянской жизни; напротивъ, все, отъ обихода до взглядовъ, свидѣтельствовало о родовитости, богатствѣ, связяхъ. Здѣсь, какъ мы скоро увидимъ, полностью расцвѣли и распустились комильфотныя стремленія Льва Николаевича. Все этому способствовало, и самая атмосфера юшковскаго дома, казалось, была проникнута заботою о томъ, чтобы все было на лучшій ладъ. Сама Юшкова мечтала для своихъ титулованныхъ племянниковъ о карьерѣ дипломатовъ или флигель-адъютантовъ. Ни въ чемъ другомъ не видѣла она смысла и счастья, какъ въ густыхъ эполетахъ, большихъ доходахъ, полной независимости. Сохранилось и ея изреченіе: rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme-il-faut, т. е. ничто такъ не полезно для молодого человѣка, какъ связь съ порядочной женщиной. Этой связи она, разумѣется, желала и для Льва Николаевича.

Съ переѣздомъ въ Казань закончилось и дѣтство Толстого. Почти неуловимые и неопредѣлимые штрихи отдѣляютъ эту первую пору жизни человѣческой отъ второй—отрочества, и чтобы охарактеризовать эти штрихи, обратимся опять къ духовной автобіографіи нашего писателя.

«Случалось ли вамъ, читатель,—спрашиваетъ онъ,—въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстной еще стороной. Такого рода моральная перемѣна произошла во мнѣ въ первый разъ, во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества.

«Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего общаго не имѣющихъ съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ все это, но зналъ не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ.

«Когда я глядѣлъ на деревни и города, которые мы проѣзжали, въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило по крайней мѣрѣ такое же семейство, какъ наше; на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ; на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ,—мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ, что-же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? Изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учатъ ли ихъ, пускаютъ ли играть, какъ наказываютъ?..

«Между дѣвочками и нами появилась какая-то невидимая преграда: у нихъ и у насъ были уже свои секреты; какъ будто онѣ гордились передъ нами своими юбками, которыя становились длиннѣе, а мы своими панталонами въ рейтузахъ».

Кончилось дѣтство—эта счастливая невозвратимая пора. Ребенокъ, все время жившій только собой и для себя, вдругъ неожиданно разсмотрѣлъ передъ глазами обширный Божій міръ, съ милліонами такихъ же людей, какъ и онъ самъ,—людей, погруженныхъ въ собственныя думы, радости, печали. Онъ не сознавалъ, да и не могъ еще сознавать, своего мѣста въ этомъ обширномъ Божіемъ мірѣ: онъ не сознавалъ, да и не могъ еще сознавать, тѣхъ отношеній, въ которыя онъ вступитъ и долженъ будетъ вступить съ этими милліонами ему подобныхъ, но онъ въ минуту прозрѣнія почувствовалъ себя частицей чего-то огромнаго, сложнаго, необъятнаго. Рамки дѣтскаго эгоизма раздвинулись и кончилось дѣтство. А какъ жаль, что кончилось оно.

«Послѣ молитвы—пишетъ Толстой—завернешься бывало въ одѣяльце; на душѣ легко, свѣтло и отрадно; однѣ мечты гонятъ другія,—но о чемъ онѣ? Онѣ неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на свѣтлое счастье. Вспомнишь бывало о Карлѣ Ивановичѣ и его горькой участи—единственномъ человѣкѣ, котораго я зналъ несчастливымъ — и такъ жалко станетъ, такъ полюбишь его, что слезы потекутъ изъ

глазъ, и думаешь: дай Богъ ему счастье, дай мнѣ возможность помочь ему, облегчить его горе; я всѣмъ готовъ для него пожертвовать... Потомъ любимую фарфоровую игрушку—зайчика или собачку—уткнешь въ уголъ пуховой подушки и любуешься, какъ хорошо, тепло и уютно ей тамъ лежать. Еще помолишься о томъ, чтобы Богъ далъ счастья всѣмъ, чтобы всѣ были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бокъ, мысли и мечты перепутаются, смѣшаются, и уснешь тихо, спокойно, еще съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ».

Кончилось дѣтство.

«Вернутся ли когда нибудь—продолжаетъ Толстой—та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели—невинная веселость и безпредѣльная потребность любви—были единственными побужденіями въ жизни?...

«Гдѣ тѣ горячія молитвы, гдѣ лучшій даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы и навѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію.

«Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?»

Но и одни воспоминанія, особенно такія чистыя, свѣтлыя, святыя, которыя сохранилъ Толстой на всю жизнь,—ужасно много значатъ. У многихъ-ли остались они? да и этихъ немногихъ съ каждымъ днемъ становится все меньше и меньше!

Въ Казани у Льва Николаевича былъ учитель и гувернеръ «St. Thomas», описанный имъ впослѣдствіи подъ именемъ m-r Жерома. Этотъ-то «St. Thomas» и подготовилъ его къ поступленію въ университетъ.

Въ университетъ въ то время молодые баричи поступали очень рано, кто 14-ти, 15-ти, кто 16-ти лѣтъ,—поступали не изъ гимназій, какъ теперь, а прямо изъ классной помѣщичьяго дома, гдѣ большинство получало, разумѣется, подготовку очень сомнительную. Впрочемъ и въ стѣнахъ высшаго учебнаго заведенія наука не находилась въ особенной чести, и смѣло можно спросить себя: была ли она на самомъ дѣлѣ? Разумѣется, читались лекціи и внѣшній видъ научности соблюдался; но далѣе, глубже не забирались ни профес-

сора, ни студенты. Громкія названія факультетовъ, въ родѣ морально-политическаго, и предметовъ, какъ напр. эстетика, не должны смущать читателя: хорошихъ профессоровъ, особенно въ провинціи, или совсѣмъ не было, или они должны были молчать, ограничиваясь чтеніемъ записокъ, тщательно разсмотрѣнныхъ, проредактированныхъ, процензурованныхъ и пр. Извѣстно изреченіе Императора Николая Павловича: «и архіереямъ нельзя давать всякую книгу»; что же послѣ этого могли слушать студенты. Буря, пронесшаяся надъ русскими университетами во времена Магницкаго и Рунича, когда анатомію преподавали не по скелету, а по полотенцу, а въ карцерѣ для провинившихся слушателей морально-политическихъ и иныхъ наукъ висѣла картина Страшнаго суда,—была еще въ памяти у всѣхъ; готовилась и новая буря, которой немного лѣтъ спустя предстояло разразиться надъ лучшимъ изъ университетовъ той эпохи—московскимъ. Наука, повторяю, въ чести не была, да, въ сущности, никто и не чувствовалъ въ ней ни малѣйшей надобности: государство поддерживало и содержало ее совсѣмъ не потому, что ему нужны были ученые юристы и знатоки римскихъ древностей, а просто, чтобы не ударить въ грязь лицомъ передъ Европой и не разрушать дѣла, начало которому было положено Великой Екатериной. Интеллигенція только-что возникала въ то время, а общества не было совершенно. Контингентъ студентовъ пополнялся главнымъ образомъ изъ дворянъ и помѣщичьихъ дѣтей. Странно даже спрашивать себя, зачѣмъ нужна была наука владѣльцу столькихъ-то и столькихъ-то душъ?.. Правда, университетскій дипломъ давалъ извѣстныя привилегіи по службѣ и право на штабъ-офицерскій чинъ, но кто-же не знаетъ, что привилегіи университетскаго диплома ничто и даже меньше того сравнительно съ привилегіями рожденія, богатства, связей. Поэтому-то атмосфера ненужности, одинаково понятной и для профессоровъ и для студентовъ, наполняла собою университетскія аудиторіи и кабинеты; не слышалось живого слова, не видно было горячаго увлеченія, и чѣмъ-то затхлымъ и скучнымъ отзываются и наука, и лекціи того времени. Даже даровитые юноши, обладавшіе жаждой познанія и рвавшіеся къ источнику истины, быстро охладѣвали, переступивъ университетскій порогъ. Уже вступительный экзаменъ, на которомъ такъ много значила протекція, знакомство, взятка, нарушалъ невинность мечты, и нѣсколько выслушанныхъ лекцій вызывали сначала недоумѣніе, потомъ недовольство и наконецъ отвращеніе. Оставался, слѣдовательно, синій воротникъ студенческаго сюртука, шпага граждан-

скаго вѣдомства и возможность считать себя большимъ. Большинство, разумѣется, вполнѣ этимъ удовлетворялось тогда, какъ удовлетворяется оно и въ настоящее время.

«Бурна была, говоритъ проф. Загоскинъ, жизнь казанскаго студенчества 40-хъ и 50-хъ годовъ. Хранящіяся въ архивѣ мѣстнаго университета дѣла по инспекціи и канцеляріи попечителя представляютъ собою цѣлые томы производства по поводу зазорнаго поведенія студентовъ и даютъ длинную хронику скандаловъ и безобразій болѣе или менѣе публичнаго характера, бороться съ которыми были безсильны всѣ строгости университетской инспекціи того времени. О гомерическихъ кутежахъ и попойкахъ мы уже не говоримъ; они носили положительно хроническій характеръ; весь избытокъ жизни уходилъ на кутежи. Бывали конечно примѣры и студентовъ-аристократовъ, которые не чужды были безобразій, довольно таки колоссальнаго характера, какія учинялъ напр. симбирскій уроженецъ, князь Ч—евъ, развлекавшійся тѣмъ, что, вооружившись духовымъ ружьемъ, съ чердака обстрѣливалъ и держалъ въ постоянномъ осадномъ положеніи всю Поперечно-Красную улицу,—не говоря уже о цѣломъ рядѣ другихъ безобразій, которыми ознаменовалъ этотъ князекъ свое пребываніе въ университетѣ. Но говоря вообще, студенты-аристократы чуждались бурнаго разгула казанскихъ буршей стараго времени и образовывали свою особую группу, впадая при этомъ въ другую крайность—увлеченіе свѣтскою жизнью, наслажденіями болѣе тонкаго и комильфотнаго разврата... Балы, вечера, пикники, спектакли, живыя картины (въ которыхъ, кстати сказать, съ большимъ успѣхомъ принималъ участіе и Л. Н. Толстой), рысаки, женщины—составляли альфу и омегу этихъ самодовольныхъ барчатъ, которые поступали въ университетъ, сами не зная для чего. Юридическій факультетъ особенно изобиловалъ юношами этой послѣдней категоріи».

Лучшимъ изъ факультетовъ въ Казани былъ повидимому математическій, гдѣ подвизался въ то время Лобачевскій, но Л. Н. Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ. Случилось это въ 1843 году, когда будущему писателю исполнилось всего 15 лѣтъ. Съ этого времени графъ Толстой считаетъ начало своей юности: гдѣ же *отрочество?*

Представивъ себѣ обстановку барскаго юшковскаго дома и плоскій идеалъ комильфотнаго существованія, при которомъ связь съ порядочной женщиной считается лучшимъ средствомъ, чтобы «оформить» молодого человѣка, читатель легко пойметъ, какъ съ внѣш-

ней стороны жилось графу Толстому за эти три года (1840—1843). Важныхъ опредѣляющихъ событій никакихъ; французъ-гувернеръ, смѣнившій нѣмца-дядьку, обучаетъ манерамъ и языкамъ; есть еще каждый день уроки русскаго языка, исторіи, математики, которые даются неблагообразными семинаристами, съ удареніемъ на «о»; есть балы, праздная прогулка и катанья.

«Весело, очень весело жили въ Казани въ ту дореформенную пору,—продолжаетъ проф. Загоскинъ,—конечно въ высшихъ сферахъ общества, дававшихъ главный колоритъ мѣстной общественности. Широкій размахъ казанской великосвѣтской жизни 40-хъ и 50-хъ годовъ носилъ характеръ послѣдней агоніи крѣпостного строя старой Россіи и давалъ себя особенно сильно чувствовать по зимамъ. Казань служила центромъ, къ которому тяготѣло все среднее Поволжье и Прикамье, являясь по отношенію къ нимъ маленькой столицей. Сюда съѣзжались на зиму богатыя помѣщичьи семьи, съ тѣмъ, чтобы повеселиться здѣсь послѣ лѣтней деревенской жизни, сдѣлать заказы, обшиться и пріодѣться, отдать въ ученье подрастающихъ ребятъ, а при случаѣ подыскать приличную партію и дочкамъ своимъ... Гостепріимство было широкое, барское, котораго теперь нѣтъ уже и въ поминѣ. Холостому человѣку, напр., можно было вовсе не имѣть у себя стола, т. е. существовало по крайней мѣрѣ 20—30 домовъ, куда ежедневно сходились обѣдать много лицъ безъ всякаго приглашенія. День распредѣлялся такъ: вскорѣ послѣ окончанія обѣда, выпивъ кофе и поболтавъ о всякой-всячинѣ, всѣ отправлялись по домамъ спать, что составляло общее обыкновеніе. Вечеромъ снова ѣхали куда-нибудь на раутъ или балъ, всегда заканчивавшійся лукулловскимъ ужиномъ; такія торжества затягивались далеко за полночь, и нерѣдко гостямъ приходилось возвращаться домой въ 5—6 часовъ утра. На слѣдующій день вставали часовъ въ 12, чтобы начать продѣлывать то же самое... Да, весело жили наши дѣды, но въ то же время и пусто до тошноты»...

По внѣшности казанскій періодъ самый бѣдный, по внутреннему своему содержанію—одинъ изъ самыхъ богатыхъ. Нечего и говорить, что излишняя воспріимчивость и склонность къ анализу не только не исчезли, но теперь-то и распускаются полностью. Неожиданныя эмоціи, произвольная почти смѣна настроеній портятъ мальчику жизнь; наркозъ мечты является попрежнему главнымъ источникомъ болѣзненнаго наслажденія: этимъ ядомъ графъ Толстой (или Николинька Иртеньевъ) продолжаетъ отравлять себя при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Безпричинныя слезы и без-

причинное раздраженіе говорятъ о разстроенныхъ, слишкомъ чувствительныхъ нервахъ, созданныхъ нездоровой наслѣдственностью отъ утомленныхъ предковъ. Застѣнчивость заставляетъ запрятывать глубоко-глубоко въ душу и свою доброту, и жажду любви, отчасти прежде чистой и свѣтлой, отчасти и новой, въ которой есть уже влеченіе къ женщинѣ.

Николинька Иртеньевъ цѣлые часы проводитъ на площадкѣ:

«безъ всякой мысли, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваясь къ малѣйшимъ движеніямъ, происходящимъ наверху», или, «притаившись за дверью, съ тяжелымъ чувствомъ зависти и ревности слушаетъ возню въ дѣвичьей» и обсуждаетъ вопросъ: «каково было-бы его положеніе, ежели-бы онъ пришелъ наверхъ и такъ же, какъ братъ, захотѣлъ бы поцѣловать горничную Машу». Но рѣшиться на это онъ не смѣетъ и попадаетъ подчасъ въ довольно глупое положеніе, слыша, какъ Маша говоритъ брату: «вотъ наказаніе! что-же вы, въ самомъ дѣлѣ, пристали ко мнѣ... идите отсюда, шалунъ эдакій... Отчего Николай Петровичъ никогда не ходитъ сюда и не дурачится»... А бѣдный Николай Петровичъ сидитъ въ эту минуту подъ лѣстницей и все на свѣтѣ готовъ отдать, чтобы только быть на мѣстѣ шалуна брата».

Широкій носъ, некрасивое лицо мучатъ попрежнему и даже сильнѣе прежняго.

«Я былъ стыдливъ отъ природы,—разсказываетъ Толстой,—но стыдливость моя еще увеличилась убѣжденіемъ въ моей уродливости. А я убѣжденъ, что ничто не имѣетъ такого разительнаго вліянія на направленіе человѣка, какъ наружность его, и не столько самая наружность, сколько убѣжденіе въ привлекательности или непривлекательности ея... Я былъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы привыкнуть къ своему положенію, утѣшался какъ лисица, увѣряя себя, что виноградъ еще зеленъ, т. е. старался презирать всѣ удовольствія, доставляемыя пріятной наружностью, которымъ я отъ души завидовалъ, и напрягалъ всѣ силы своего ума и воображенія, чтобы находить наслажденіе въ гордомъ одиночествѣ»...

Передъ нами опять мотивы дѣтства, но обострившіеся, болѣе мучительные, оттого что болѣе себялюбивые... Громадный запасъ чувствительности, какъ жидкость изъ переполненной посуды, при малѣйшемъ толчкѣ выливается черезъ край. Настроеніе деспотически владѣетъ мальчикомъ, заставляя его продѣлывать самыя дикія и несообразныя вещи. Учится онъ не то чтобы плохо, а безпо-

рядочно, не зная середины, то увлекаясь, то чувствуя полнѣйшее отвращеніе. Онъ очевидно боленъ, и боленъ прежде всего богатствомъ своей неуравновѣшенной, слишкомъ нервной натуры.

На него находитъ порою странность:

«Вспоминая свое отрочество—пишетъ онъ—и особенно то состояніе духа, въ которомъ я находился въ одинъ несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самаго ужаснаго преступленія, безъ цѣли, безъ желанія вредить, но такъ... изъ любопытства, изъ безсознательной потребности дѣятельности... Бываютъ минуты, когда будущее представляется человѣку въ столь мрачномъ свѣтѣ, что онъ боится останавливать на немъ свои умственные взоры, прекращаетъ въ себѣ совершенно дѣятельность ума и старается убѣдить себя, что будущаго не будетъ и прошедшаго не было. *Въ такія минуты*, когда мысль не обсуживаетъ впередъ каждаго опредѣленія воли, а единственными пружинами жизни остаются плотскіе инстинкты, я понимаю, что ребенокъ, по неопытности особенно склонный къ такому состоянію, безъ малѣйшаго колебанія и страха, съ улыбкой любопытства раскладываетъ и раздуваетъ огонь подъ собственнымъ домомъ, въ которомъ спятъ его братья, отецъ, мать, которыхъ онъ нѣжно любитъ»...

Въ такія минуты мальчикъ начинаетъ бить, что попало подъ руку, дерется съ своимъ гувернеромъ и совершаетъ одинъ дикій поступокъ за другимъ, въ состояніи полной невмѣняемости. Онъ и самъ не знаетъ, что, какъ и зачѣмъ, и чувствуетъ лишь обиду и страданіе.

— «Оставьте меня,—кричитъ онъ сквозь слезы:—никто вы не любите меня, не понимаете, какъ я несчастливъ! Всѣ вы гадки, отвратительны»...

Матери, которая поняла бы ребенка въ эти минуты и одна могла бы успокоить его своимъ ласковымъ любящимъ словомъ—нѣтъ, и бѣдное обиженное маленькое сердце ищетъ утѣшенія или лучше забвенія въ фантастическихъ мечтахъ:

«То мнѣ приходитъ въ голову, что должна существовать какая нибудь неизвѣстная причина общей ко мнѣ нелюбви и даже ненависти. (Въ то время я былъ твердо убѣжденъ, что всѣ, начиная отъ бабушки и до Филиппа кучера, ненавидятъ меня и находятъ наслажденіе въ моихъ страданіяхъ). Я должно быть не сынъ моей матери и моего отца, а несчастный сирота, подкидышъ, взятый изъ милости, говорю я самъ себѣ, и нелѣпая мысль эта не только доставляетъ мнѣ какое-то *грустное утѣшеніе*, но даже кажется совершенно правдоподобною.

Мнѣ *отрадно* думать, что я несчастенъ не потому, что виноватъ, но потому, что такова моя судьба съ самаго моего рожденія, и что участь моя похожа на участь несчастнаго»...

Мечта работаетъ съ болѣзненной настойчивостью. Мальчикъ воображаетъ себя то подкидышемъ, то гусарскимъ генераломъ, то въ гробу, и живетъ своимъ воображеніемъ, совершенно забывая, гдѣ онъ и кто онъ.

«Послѣ сорока дней, думаетъ онъ напр.,—душа моя улетаетъ на небо; я вижу тамъ что-то удивительно прекрасное, бѣлое, прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать. Это что-то бѣлое окружаетъ, ласкаетъ меня, но я чувствую безпокойство и какъ будто не узнаю ея. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мнѣ лучше, чтобы я могъ обнять тебя. И мнѣ отвѣчаетъ ея голосъ: «здѣсь мы всѣ такіе, я не могу лучше обнять тебя. Развѣ тебѣ не хорошо такъ?»—Нѣтъ, мнѣ очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня и я не могу цѣловать твоихъ рукъ... «Не надо этого, здѣсь и такъ прекрасно»—говоритъ она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вмѣстѣ съ ней летимъ все выше и выше»...

Мальчикъ упивается мечтами до одуренія и пресыщается ими. Онъ даже принуждаетъ себя мечтать, чтобы только забыться и вернуть блаженныя минуты опьяненія. Какъ настоящій «алкоголикъ», онъ пьетъ мечту, когда она уже противна ему.

Здоровыя мысли и чувства не могутъ вырости на этой почвѣ. Мы можемъ ожидать всего худшаго, и на самомъ дѣлѣ мальчикъ скоро начинаетъ ненавидѣть своего гувернера. «Да—разсказываетъ онъ,—это было настоящее чувство ненависти,—не той ненависти, про какую пишутъ только въ романахъ и въ какую я не вѣрю,—ненависти, которая будто бы находитъ наслажденіе въ дѣланіи зла человѣку,—внушаетъ вамъ непреодолимое отвращеніе къ человѣку, заслуживающему однако ваше уваженіе, дѣлаетъ для васъ противными его волосы, походку, шею, звукъ его голоса, всѣ его члены, всѣ его движенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ какою-то непонятною силою притягиваетъ васъ къ нему и съ безпокойнымъ вниманіемъ заставляетъ слѣдить за малѣйшими его поступками».

Но откуда все это? Откуда такая ожесточенная ненависть, откуда столько страданія? Казалось бы, мальчику живется хорошо. Его никто не обижаетъ и никто его не унижаетъ, никакихъ лишеній онъ не терпитъ; напротивъ, онъ окруженъ и лаской, и вниманіемъ. Вокругъ него семья, которую онъ любитъ и которая его любитъ. Почему же нѣтъ счастья и нѣтъ удовлетворенности, почему

душа безпокойно мечется въ обстановкѣ, которая по всей истинѣ и справедливости можетъ удовлетворить любого смертнаго? Но капризное, неуравновѣшенное чувство, слишкомъ прихотливое и требовательное, ищетъ чего-то бо̀льшаго, совершеннаго, и вмѣсто радости то и дѣло погружается въ тоску и мрачное уныніе. Причина такой странности заключается, кажется, въ томъ, что геніальныя натуры вообще плохо приспособляются къ какимъ бы то ни было условіямъ нашего земного существованія, или, какъ краснорѣчиво выражается Брандесъ, носятъ «печать Каина на челѣ». Онѣ слишкомъ нѣжны. Незамѣтный для обыкновеннаго смертнаго толчекъ вызываетъ въ нихъ боль и страданіе; та же чуткость дѣлаетъ ихъ непомѣрно требовательными и обидчивыми. Мало того, въ годы дѣтства и юности онѣ рѣдко бываютъ сами собой; минутное настроеніе такъ деспотически владѣетъ ими, что онѣ постоянно кого-то и что-то изображаютъ: то страдальца, то меланхолика, то человѣка, презирающаго все и вся. Вообразивъ себя тѣмъ или другимъ, онѣ поступаютъ по воображенію,—обстоятельство, которое и позволяетъ намъ понять общую характеристику, данную Толстымъ своему «отрочеству».

«По моему мнѣнію,—говоритъ онъ,—*несообразность* между положеніемъ человѣка и его моральной дѣятельностью есть *вѣрнѣйшій признакъ истины*».

Какъ это такъ «несообразность» можетъ служить вѣрнѣйшимъ признакомъ истины? Это что-то въ родѣ тертулліановскаго «вѣрю, потому что это безсмыслица». Однако Толстой правъ, но правъ не вообще, а лишь въ томъ случаѣ, когда имѣется въ виду болѣзненно-чуткая и напряженно-впечатлительная натура, такая, т. е., которую Достоевскій мѣтко назвалъ «фантастической».

Никакого противорѣчія въ такой психологической несообразности нѣтъ. Представьте себѣ на самомъ дѣлѣ, что вы идете ночью по незнакомому лѣсу, идете въ одиночку и чего-то ежеминутно ожидаете. Страхъ и ожиданіе дѣлаетъ вашу впечатлительность значительно повышенною. Вы видите такъ, какъ никогда прежде не видѣли въ темнотѣ, слышите такъ, какъ не слышали никогда раньше; вы какъ будто различаете даже шумъ отъ упавшаго на землю древеснаго листа или шуршаніе ползущаго насѣкомаго. Но эта-то чуткость, эта-то тонкость слуха и проницательность зрѣнія и обманываютъ васъ. Вы сознаете себя окруженнымъ всякими ужасами, которыхъ нѣтъ, потому что мозгъ вашъ ежеминутно получаетъ преувеличенныя представленія о внѣшнемъ мірѣ. Чтобы красивая рука не стала

безобразной въ вашихъ глазахъ, не надо разсматривать ее въ лупу; чтобы жизнь не оттолкнула васъ отъ себя, не измучила бы васъ, не надо слишкомъ близко въ нее всматриваться. Такъ говоритъ благоразуміе, т. е. послѣднее, чего слушаются выдающіяся натуры.

Та же болѣзненная чуткость вызываетъ и обусловливаетъ нравственное одиночество, въ которомъ пребываютъ таланты и геніи. На почвѣ этого одиночества выростаютъ странныя мысли, странные вопросы.

«Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ моральную жизнь,—разсказываетъ Толстой,—всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ, и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему.

«Разъ мнѣ пришла мысль, что счастье не зависитъ отъ внѣшнихъ причинъ, а отъ нашего отношенія къ нимъ; что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ; и чтобы пріучить себя къ труду, я, несмотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексиконы Татищева или уходилъ въ чуланъ и веревкой стегалъ себя такъ больно по голой спинѣ, что слезы невольно выступали на глазахъ.

«Другой разъ, вспомнивъ вдругъ, что *смерть ожидаетъ меня каждый часъ*, каждую минуту, я рѣшилъ, не понимая, какъ не поняли того до сихъ поръ люди, что человѣкъ не можетъ быть иначе счастливъ, какъ пользуясь настоящимъ и не помышляя о будущемъ,—и я три дня, подъ вліяніемъ этой мысли, бросилъ уроки и занимался только тѣмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого-нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые я покупалъ на послѣднія деньги».

Мальчикъ умствуетъ въ своемъ произвольномъ одиночествѣ, мальчикъ чувствуетъ себя несчастнымъ и начинаетъ задумываться о смерти. Сколько отвлеченнаго въ направленіи его мысли, и какъ мало связи между работой его мозга и впечатлѣніями окружающей дѣйствительности. Но мы уже видѣли, что въ дѣтствѣ Толстому очень хотѣлось полетать, и казалось, что это такъ просто: «стоитъ только обнять колѣнки покрѣпче руками»; и въ отрочествѣ у него та же жажда летанія, то же стремленіе непокорнаго духа отрѣшиться отъ земли и ея обыденныхъ, будничныхъ интересовъ. Мы уже предчувствуемъ, что онъ долженъ увлечься сомнѣніемъ, и дол-

женъ увлечься имъ прежде всего потому, что жизнь не удовлетворяетъ его. Страданіе-же истинное или выдуманное—безразлично—ведетъ человѣка къ отрицанію. И самое полученное имъ воспитаніе не закрѣпило въ его головѣ ни одного твердаго правила: онъ и молился-то лишь по привычкѣ, исполняя какой-то обрядъ, а когда сверстникъ сказалъ ему, что не надо молиться, что смѣшно молиться,—онъ бросилъ это такъ легко, какъ будто сдулъ пушинку со своей одежды.

«Я воображалъ,—продолжаетъ онъ свой разсказъ,—что кромѣ меня никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ, что предметы—не предметы, а образы, являющіеся только тогда, когда я на нихъ обращаю вниманіе, и что, какъ скоро я перестаю думать о нихъ, образы эти тотчасъ-же исчезаютъ. Были минуты, что я подъ вліяніемъ этой постоянной идеи доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не было.

Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабѣвшей во мнѣ силы воли и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтоживъ свѣжесть жизни и ясность разсудка».

Разумѣется, всѣ эти мысли и мыслишки кажутся мальчику въ высшей степени оригинальными и питаютъ его гордость. Съ сознаніемъ собственнаго достоинства и превосходства смотритъ онъ на остальныхъ смертныхъ, но—

«странно,—разсказываетъ онъ,—приходя въ столкновеніе съ этими смертными, я робѣлъ передъ каждымъ, и чѣмъ выше ставилъ себя въ собственномъ мнѣніи, тѣмъ менѣе былъ способенъ съ другими не только выказывать сознаніе собственнаго достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое слово и движеніе».

Съ такими-то задатками начались университетскіе годы, а вмѣстѣ съ ними и юность.

* *
*

Какъ мы видѣли раньше, Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ, что̀, повидимому, можно объяснить лишь его юношеской страстью оригинальничать и идти иной дорогой, чѣмъ идутъ другіе, не справляясь даже о томъ, насколько она хороша. Учился онъ очень неудачно, главнымъ образомъ потому, что перебрасывался съ предмета на предметъ, не зная,

на чемъ ему остановиться. Въ сорокъ четвертомъ году мы видимъ его уже юристомъ, но и здѣсь дѣло не пошло. Онъ заинтересовался лишь на нѣсколько мѣсяцевъ лекціями профессора Мейера по государственному праву и взялся даже за самостоятельную работу сравненія «Духа Законовъ» Монтескье съ «Наказомъ» императрицы Екатерины, увлекся этой работой, а потомъ вскорѣ остылъ и къ ней.

Проф. Загоскинъ, подробно изслѣдовавъ документы, относящіеся къ университетскому періоду жизни Толстого, нарисовалъ слѣдующую ея картину, которую мы и резюмируемъ:

«Графъ Л. Н. не послѣдовалъ математическимъ наклонностямъ своихъ братьевъ; онъ избираетъ факультетъ восточныхъ языковъ, къ поступленію на который усиленно и готовился въ теченіе 42—44 г., а дѣло это было совсѣмъ не легкое, такъ какъ для вступительнаго экзамена нужно было имѣть подготовку въ арабскомъ и турецко-татарскомъ языкахъ. Приближалась весна 44 г., — время вступительныхъ университетскихъ испытаній. Въ это доброе, старое время для юношей изъ богатыхъ аристократическихъ семей практиковалось облегченное средство для вступленія подъ сѣнь университетскихъ аудиторій: среди профессоровъ всегда находились покровители родовитыхъ и состоятельныхъ аспирантовъ на студенчество, которые или поселялись у своихъ будущихъ экзаменаторовъ въ качествѣ учениковъ-пансіонеровъ, или же брали у нихъ по ихъ спеціальностямъ приватные уроки (разумѣется, за приличное вознагражденіе). Толстому, на бѣду, пришлось однако держать экзаменъ въ такое время, когда только-что отъ попечителя округа, графа Мусина-Пушкина, было получено строжайшее предложеніе: «малосвѣдущихъ не принимать». Несмотря на приватные уроки, онъ сбился и получилъ достаточное количество единицъ и двоекъ. Но ему разрѣшили дополнительные экзамены, и онъ былъ принятъ «по разряду арабско-турецкой словесности». Что нашелъ онъ тутъ? Очень мало для ума, еще меньше для сердца. Но вѣроятно, что главная причина его хроническихъ университетскихъ неудачъ лежала не въ курсѣ преподаванія, не въ профессорахъ, а во вліяніи той среды, среди которой онъ вращался. «Это,—говоритъ Загоскинъ,— была среда, всецѣло проникнутая сословными предразсудками, пропитанная условными понятіями комильфотности и не находившая ничего лучшаго, какъ воскуриваніе фиміама ихъ высокопревосходительствамъ губернатору и губернаторшѣ и раздѣлять свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя къ этимъ развлеченіямъ по истинѣ безпри-

мѣрное чревоугодіе. Домъ тетки молодыхъ гр. Толстыхъ, П. И. Юшковой, мужъ которой, кстати сказать, рекомендовалъ себя откровенно стихами: «графъ Толстой—человѣкъ пустой, выдалъ дочь Полину—за Юшкова-скотину»,—является однимъ изъ видныхъ аристократическихъ домовъ Казани. Очень естественно, что этотъ домъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ условія пустой, безсодержательной провинціальной великосвѣтской жизни. Какъ тетушка Полина Ильинишна, такъ и окружавшіе ее, систематически портили юношу, ломали его хорошую отъ рожденія натуру и развращали и его умъ, и его душу, и его сердце. Въ братьяхъ своихъ, кромѣ старшаго, Николая, никакой нравственной поддержки онъ встрѣтить не могъ. Сергѣй Николаевичъ былъ яркимъ типомъ боввивана, студента-франта, дамскаго поклонника и ловеласа, который никогда не прочь кутнуть и охотно беретъ отъ жизни все, что она способна дать ему; впослѣдствіи онъ женился на цыганкѣ изъ хора. Дмитрій, напротивъ, былъ ханжа и мистикъ, избѣгавшій всякихъ удовольствій и развлеченій свѣта, ходилъ ко всѣмъ церковнымъ службамъ, постился, велъ абсолютно чистую жизнь; даже попечитель округа Мусинъ-Пушкинъ вынужденъ былъ уговаривать его танцовать на вечерахъ тѣмъ аргументомъ, что царь Давидъ плясалъ передъ ковчегомъ.

Судя по нѣкоторымъ горькимъ строкамъ изъ «Исповѣди», Л. Н. Толстому чувствовалось нехорошо въ этой обстановкѣ. «Всякій разъ, говоритъ онъ напр.,—когда я пытался высказать то, что составляло самыя задушевныя мои желанія,—то, что я хочу нравственно быть хорошимъ,—я встрѣчалъ презрѣніе и насмѣшки, а какъ только я предавался гадкимъ страстямъ—меня хвалили и поощряли». «Добрая тетушка моя», съ ироніей продолжаетъ онъ, «чистѣйшее существо, всегда говорила мнѣ, что она ничего не желала-бы такъ для меня, какъ того, чтобы я имѣлъ связь съ замужнею женщиной. Еще другого счастья она желала мнѣ, того, чтобы я былъ адъютантомъ и лучше всего—у государя, а самаго большого счастья, того, чтобы я женился на богатой дѣвушкѣ и чтобы у меня было какъ можно больше рабовъ».

Примкнувши къ кружку студентовъ-аристократовъ, проводя все время на балахъ, вечерахъ и пикникахъ, гр. Толстой, разумѣется, занимался очень слабо и, не выдержавъ переходныхъ экзаменовъ на 2-й курсъ, перебрался попытать счастья на юридическій факультетъ, но встрѣтилъ здѣсь, по выраженію проф. Загоскина, «нѣчто невообразимое». «Факультетъ олицетворялся въ небольшой кучкѣ профессоровъ, съ преобладающимъ нѣмецкимъ элементомъ, которые служили предметомъ

посмѣшища для студентовъ всѣхъ факультетовъ и всѣхъ курсовъ... Вотъ напримѣръ, полуюродивый профессоръ римскаго права Камбекъ, нѣмецъ, почти незнающій русскаго языка, который изъ года въ годъ начиналъ свой курсъ крикливымъ диктованьемъ: Рымское право! Р—большое, П—тоже большое и пунктумъ... Запшите это сэбэ на бокѣ (т.-е. на поляхъ)». Диктованьемъ на ломаномъ русскомъ языкѣ передавалъ этотъ профессоръ и весь свой дальнѣйшій курсъ, въ которомъ встрѣчались напримѣръ такого рода перлы: «Рымлянэ ымэли своево орхіеррея, краго (профессоръ читалъ сокращенно *краго*, а не *котораго*: такъ для него были переписаны лекціи) называли вэрховный жэрэбэцъ (т.-е. жрецъ)». Другой профессоръ той же эпохи, криминалистъ Густавъ Фогель, слѣдующимъ образомъ иллюстрировалъ, напримѣръ, несостоятельность суда присяжныхъ: «Когда-то и гдѣ-то одна молодая дэвушка билла обвиняемая въ ужаснэйшемъ преступленіи, самымъ сквернэйшимъ образомъ учиненнаго... И ссудъ присяжныхъ оправдалъ ее!»

«Недуренъ былъ и профессоръ международнаго права Гельмутъ Винтеръ, совершенно не знавшій почти русскаго языка, и потому читавшій свои лекціи по какой-то ветхой тетрадкѣ по-французски. Онъ скакалъ въ паѳосѣ по аудиторіи, показывая наглядно картину вступленія въ 1813 году союзныхъ государей въ Парижъ, или картинно размахивалъ запачканнымъ въ табакѣ носовымъ платкомъ, демонстрируя слушателямъ морскіе сигналы, а не то такъ изображалъ ртомъ, немилосердно надувая щеки, салютаціонную канонаду»...

Лучше другихъ были проф. Мейеръ, Станиславскій и др., но и у нихъ гр. Толстой мало чему научился, вѣрнѣе мало чему хотѣлъ научиться».

Разумѣется, и въ данномъ случаѣ говорить о неспособности къ труду Толстого, у котораго впослѣдствіи хватило невѣроятнаго терпѣнія семь разъ подъ-рядъ передѣлать «Войну и миръ», а еще позже, уже подъ старость, изучить всѣхъ комментаторовъ къ Евангелію—смѣшно. Профессорскія двойки, единицы и нули говорятъ намъ лишь о томъ, что никогда настоящаго интереса къ университетской наукѣ Толстой не питалъ, и что самолюбіе его въ это время было направлено совсѣмъ на другое, чѣмъ на академическіе лавры, полученіе которыхъ и теперь-то не представляетъ никакихъ особенныхъ трудностей для обезпеченнаго человѣка, а сорокъ лѣтъ тому назадъ было и еще того легче.

Самолюбіе графа Толстого въ періодъ 43—47 годовъ стремилось прежде всего къ тому, чтобы быть вполнѣ приличнымъ, кор-

ректнымъ и даже свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ. Онъ не только самъ признается въ этомъ въ «Юности», но о томъ же самомъ говорятъ и тѣ, кто сидѣлъ съ нимъ на одной скамейкѣ. Онъ принадлежалъ къ кружку «аристократовъ» и совершенно игнорировалъ сѣрую братію. Поза и движенія его были всегда вызывающія, выраженіе лица и глазъ презрительное, до разговора съ своими товарищами онъ не снисходилъ и держался даже обыкновенія не здороваться ни съ кѣмъ, приходя на лекціи, и не прощаться ни съ кѣмъ, уходя домой. У него была своя лошадь и свой кучеръ, шинель съ прекрасными бобрами и презрительный видъ, скрывавшій за собой огромное неудовлетворенное самолюбіе и болѣзненную застѣнчивость.

Симпатичнаго во всемъ этомъ мало, но я думаю, что за это время Толстой просто вообразилъ себя свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ (чѣмъ онъ никогда ни позже, ни раньше не былъ)—и поступалъ по воображенію. Обстановка юшковскаго дома, многочисленные образцы для подражанія изъ казанской золотой молодежи, наставленія тетки и собственное неумѣніе быть простымъ и искреннимъ съ другими заставили его не только увлечься идеаломъ «comme il faut», но и утрировать этотъ идеалъ. Аристократическая сдержанность и презрительность въ обхожденіи едвали могли нравиться ему по самому существу своему и вѣроятно доставляли ему гораздо больше непріятностей, чѣмъ удовольствія; но вѣдь фантастическія натуры объ этомъ не справляются: въ извѣстныя эпохи имъ непремѣнно надо играть какую нибудь роль, убѣдить себя, что эта роль истинная, настоящая, и доводить свою игру до крайности, иногда до комизма.

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ юности—пишетъ Толстой—было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно comme il ne faut pas и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть съ собой равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно. *Мое* comme il faut состояло—первое и главное—въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно говорящій по-французски, тотчасъ же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. «Для чего-же ты хочешь говорить какъ мы, когда не умѣешь?» съ ядовитою усмѣшкой спрашивалъ я его мысленно. Второе условіе comme

il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье — было умѣнье, кланяться, танцовать и разговаривать, четвертое, и очень важное было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки. Кромѣ того, у меня были общіе признаки, по которымъ я, не говоря съ человѣкомъ, рѣшалъ, къ какому разряду онъ принадлежитъ. Главнымъ изъ этихъ признаковъ кромѣ убранства комнатъ, перчатокъ, почерка, экипажа—были *ноги*. Отношеніе сапогъ къ панталонамъ тотчасъ-же рѣшало въ моихъ глазахъ положеніе человѣка. Сапоги безъ каблука, съ угловатымъ носкомъ и концы панталонъ узкіе, безъ штриповъ, это былъ *простой*; сапогъ съ узкимъ, круглымъ носкомъ и каблукомъ и панталоны узкія внизу, облегающія ногу, или широкія со штрипками, какъ балдахинъ стоящія надъ носкомъ,—это былъ человѣкъ mauvais genre».

Даровитые люди въ періодѣ своей неуравновѣшанности способны выдѣлывать такія глупости, которыя не подъ силу даже совсѣмъ глупому человѣку. Это общеизвѣстно; но за глупостями большихъ даровитыхъ людей скрывается всегда если и не что нибудь умное, то во всякомъ случаѣ глубокое. То же и въ этомъ случаѣ. Любопытно, что Лермонтовъ ощущалъ то же самое: и Лермонтовъ стыдился быть простымъ и искреннимъ, и Лермонтовъ не хотѣлъ разговаривать съ Бѣлинскимъ, а цѣлыми часами весело болталъ съ Столыпинымъ и товарищами-уланами, и Лермонтовъ въ университетѣ держалъ себя вызывающе-гордо и презрительно. Дѣло тутъ прежде всего въ огромности самолюбія, безпокойнаго и мучительнаго. Подчиняясь ему и внушеніямъ юшковскаго дома, Толстой, повторяю, имѣлъ больше страданій, чѣмъ радости.

«Странно то,—продолжаетъ онъ, что — ко мнѣ, который имѣлъ положительную неспособность къ comme il faut, до такой степени привилось это понятіе. А можетъ быть именно оно такъ сильно вросло въ меня отъ того, что мнѣ стоило огромнаго труда пріобрѣсти это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько безцѣннаго, лучшаго въ жизни шестнадцатилѣтняго времени я потратилъ на пріобрѣтеніе этого качества. Всѣмъ, кому я подражалъ,—все это, казалось, доставалось легко. Я съ завистью смотрѣлъ на нихъ и втихомолку работалъ надъ французскимъ языкомъ, надъ наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, надъ разговоромъ, танцованьемъ, надъ вырабатываньемъ въ себѣ самомъ ко всему равнодушія и скуки, надъ ногтями, на которыхъ я рѣзалъ себѣ мясо ножницами— и все-таки чувствовалъ, что мнѣ еще много оставалось труда для достиженія цѣли»...

Дрожжи стараго барства удаляли Толстого (какъ и Лермонтова) отъ всего разночиннаго, чей напоръ, упрямый и не всегда особенно вѣжливый, онъ не могъ не почувствовать даже въ университетскихъ стѣнахъ. Вѣдь онъ видѣлъ около себя товарищей, хотя и не наблюдавшихъ гармоніи между сапогами и панталонами, но гораздо лучше учившихся, чѣмъ онъ, и гораздо болѣе, чѣмъ онъ, образованныхъ, Но искренне признать ихъ превосходство и отнестись къ нимъ почеловѣчески не позволяли старыя барскія дрожжи. И Толстой все глубже и глубже уходилъ въ свою comme il faut'ность.

«Въ извѣстную пору молодости,—говоритъ онъ,—послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно становится въ необходимость дѣятельнаго участія въ общественной жизни, избираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ comme il faut это рѣдко случается. Я зналъ и знаю очень, очень много людей,—старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой, и что ты тамъ дѣлалъ?»—не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ «je fus un homme trés comme il faut».

Эта участь ожидала и меня».

Мы уже видѣли внѣшнюю жизнь и времяпрепровожденіе молодого барича, имѣвшаго собственную свою упряжку и собственныя свои значительныя карманныя деньги. Толстой впослѣдствіи съ отвращеніемъ вспоминалъ о кутежахъ и пьянствѣ своей юности. Но, разумѣется, этимъ не исчерпывалась его духовная жизнь, какъ не исчерпывалась она и заботами о панталонахъ и ногтяхъ. Умъ продолжалъ дѣятельно работать, и, какъ этого можно было ожидать, въ прежнемъ скептическомъ направленіи. Кое-что изъ этой работы мы знаемъ. Однажды за какую-то незначительную провинность Толстой вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Назарьевымъ попалъ въ карцеръ на цѣлыя сутки. Къ мѣсту заключенія онъ явился, разумѣется, въ собственныхъ дрожкахъ, съ товарищемъ не поздоровался и, не зная, чѣмъ занять себя, сталъ смотрѣть въ окно, приказавъ предварительно кучеру разъѣзжать взадъ и впередъ передъ зданіемъ безъ всякаго толку и смысла. Но потомъ заключенные разговорились и принялись даже спорить. Назарьевъ разсказываетъ, что «вся неотразимая для меня сила сомнѣній его обрушилась на университетъ и университетскую науку вообще; «храмъ науки» не сходилъ съ его языка. Оставаясь неизмѣнно серьезнымъ, онъ въ

такомъ смѣшномъ видѣ рисовалъ нашихъ профессоровъ, что, при всемъ желаніи оставаться равнодушнымъ, я хохоталъ какъ помѣшанный. «А между тѣмъ, заключилъ Толстой, мы съ вами въ правѣ ожидать, что выйдемъ изъ этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесемъ мы изъ университета? подумайте и отвѣчайте по совѣсти. Что вынесемъ мы изъ этого святилища, возвратившись во свояси, въ деревню? На что будемъ мы пригодны? Кому нужны?»

Вопросы, которые ставитъ Толстой, очень умны и толковы и очевидно говорятъ намъ о томъ, что подъ скорлупой comme il faut'ности идетъ неустанная работа вдумчиваго духа. Особенно презрительно третировалъ въ то время Толстой исторію. «Исторія,— говорилъ онъ,—не что иное, какъ собраніе басенъ и сказокъ и ненужныхъ, а подъ часъ и безнравственныхъ, мелочей. Какой смыслъ въ хронологіи? Кому и зачѣмъ нужно знать, что первый бракъ Іоанна Грознаго произошелъ въ 1550 г., а четвертый—въ 1572 г.? Кому какое дѣло до того, что Игорь былъ убитъ древлянами, а Олегъ прибилъ свой щитъ на вратахъ Царьграда?.. А обратите вниманіе на изложеніе нашихъ историковъ; тутъ перлъ на перлѣ. Прекрасный, добросердечный, полный самыхъ благихъ намѣреній царь Іоаннъ IV вдругъ ни съ того, ни съ сего становится грознымъ, палачемъ, кровопійцей... Почему? Какъ? Откуда это?.. Самодовольный историкъ такихъ вопросовъ не задаетъ себѣ и интересуется совершенно постороннимъ»...

Университетъ собственно не далъ Толстому ничего, да и не могъ ничего дать его непокорной, не признававшей никакихъ рамокъ и укладовъ натурѣ. Онъ требовалъ всегда гораздо бо́льшаго, чѣмъ ему предоставляли, отсюда недовольство, небрежность и презрѣніе. Но жизнь дала гораздо больше. Описаніе «Юности» Толстой начинаетъ словами:

«Я сказалъ, что дружба моя съ товарищемъ открыла мнѣ новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношенія. Сущность этого взгляда состояла въ убѣжденіи, что назначеніе человѣка есть стремленіе къ нравственному усовершенствованію, и что усовершенствованіе это легко, возможно и вѣчно. Но до сихъ поръ я наслаждался только открытіемъ новыхъ мыслей, вытекающихъ изъ этого убѣжденія, и составленіемъ блестящихъ плановъ нравственной дѣятельной будущности; но жизнь моя шла все тѣмъ же мелочнымъ, запутаннымъ и празднымъ порядкомъ. Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такою свѣжею силой моральнаго открытія

пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, въ ту же секунду, захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ. И съ этого времени я считаю начало *юности*».

Разумѣется, никакихъ реальныхъ цѣлей и никакихъ реальныхъ путей къ совершенствованію Толстой въ то время не зналъ. Это было совершенствованіе *вообще*, куда вошелъ впослѣдствіи и идеалъ «comme il faut». По пріобрѣтенной въ дѣтствѣ привычкѣ, совершенство ограничилось главнымъ образомъ областью мечтаній. Напр.:

...«Съ нынѣшняго дня я уже больше не буду смотрѣть на женщинъ. Никогда, никогда не буду ходить въ дѣвичью, даже буду стараться не проходить мимо; а черезъ три года выйду изъ-подъ опеки и женюсь непремѣнно... Буду дѣлать нарочно движенія какъ можно больше, гимнастику каждый день, такъ что когда мнѣ будетъ двадцать пять лѣтъ, я буду сильнѣе Раппо. Первый день буду держать полпуда «вытянутой рукой» пять минутъ, на другой день двадцать одинъ фунтъ, на третій день двадцать два фунта и такъ далѣе, такъ что, наконецъ, по четыре пуда въ каждой рукѣ, и такъ, что буду сильнѣе всѣхъ въ дворнѣ; и когда вдругъ кто-нибудь вздумаетъ оскорбить меня или станетъ отзываться непочтительно о *ней*, я возьму его такъ, просто за грудь, подниму аршина на два отъ земли одною рукою и только подержу, чтобъ почувствовалъ мою силу, и оставлю; но, впрочемъ, и это не хорошо... нѣтъ, ничего, вѣдь я ему зла не сдѣлаю, а только докажу, что я...»

Вспоминая свое прошлое, юноша чувствовалъ подчасъ отвращеніе къ самому себѣ и раскаяніе, но раскаяніе до такой степени слитое съ надеждой на счастье, что оно не имѣло въ себѣ ничего печальнаго. Ему казалось, что такъ

«легко и естественно оторваться отъ всего прошедшаго, передѣлать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всѣми ея отношеніями совершенно снова, чтобы прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался въ отвращеніи къ прошедшему и старался видѣть его мрачнѣе, чѣмъ оно было. Чѣмъ чернѣе былъ кругъ воспоминаній прошедшаго, тѣмъ чище и свѣтлѣе выдавалась изъ него свѣтлая, чистая точка настоящаго и разливались радужные цвѣта будущаго. Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій».

Рядомъ съ скептической появилась, какъ видитъ читатель, и еще новая, хотя и робко звучащая струна совершенствованія. То кровь кипитъ, то силъ избытокъ,—такъ какъ никакой ясной цѣли въ этомъ совершенствованіи, повторяю, не было. Хотѣлось быть лучше другихъ, умнѣе другихъ, сильнѣе другихъ; хотѣлось инстинктивнаго сознанія той мощи, которая была вложена въ глубину натуры, но не проявлялась еще наружу и дремала и грезила, предаваясь ребяческимъ мечтамъ. Хотѣлось власти, почестей, славы, къ чему рвалось честолюбивое «я», какъ все живое рвется къ огню и свѣту. Хотѣлось женской любви и ласки, отъ которой юное неиспорченное существо оживаетъ, какъ цвѣтокъ отъ утренней росы. Хотѣлось и нравственныхъ подвиговъ, хотѣлось самоотверженія, хотя честолюбивые инстинкты заставляли искать всегда перваго мѣста.

II.

Руссо и Нехлюдовщина.

Въ 1847 году, не сдавъ даже экзаменовъ на третій курсъ, Л. Н. Толстой, побуждаемый между прочимъ тѣмъ обстоятельствомъ, что старшіе братья, окончивъ курсъ, уѣхали изъ Казани, вышелъ изъ университета, такъ мало ему приглянувшагося, и отправился въ Ясную Поляну, гдѣ прожилъ почти безвыѣздно до 1851 года. «Утро помѣщика» даетъ намъ лучшую характеристику его тогдашней жизни, какъ «Дѣтство, Отрочество и Юность» вѣрно отражаетъ въ себѣ его жизнь до этого времени. «Я выхожу изъ университета, пишетъ графъ Толстой, *чтобъ посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ для нея. Главное зло заключается въ самомъ бѣдственномъ, жалкомъ положеніи мужиковъ,* и зло такое, которое можно исправить только трудомъ и терпѣніемъ. *Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастьи этихъ семисотъ человѣкъ, за которыхъ я долженъ буду отвѣчать Богу?* Не грѣхъ ли покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ изъ-за плановъ наслажденія и честолюбія? и зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается блестящая и ближайшая обязанность. Я пошелъ по совершенно особенной дорогѣ, но которая хороша и, я чувствую, приведетъ меня къ счастью».

Въ подчеркнутыхъ мною словахъ и выраженіяхъ читатель не можетъ не замѣтить чего-то совершенно новаго и даже внезапнаго. Вѣдь раньше о томъ, чтобы посвятить себя жизни въ деревнѣ, о жалкомъ положеніи мужиковъ, о священной обязанности заботиться о счастьи семисотъ человѣкъ не было и помину. Наоборотъ даже... Но на подобныя внезапныя и рѣзкія перемѣны въ настроеніи намъ еще придется не разъ, а много разъ, натолкнуться въ біографіи Толстого.

Мы видѣли, что графъ Л. Н. Толстой родился, выросъ и провелъ свою юность въ крѣпостнической обстановкѣ. 9—10-ти-лѣтнимъ мальчикомъ онъ владѣлъ уже сотнями душъ и почти половину жизни своей прожилъ на счетъ яснополянскихъ мужиковъ, которые поили и кормили его и позволяли безпрепятственно переходить изъ одной фазы развитія въ другую, питать вѣру, страдать сомнѣніями, стремиться къ совершенствованію и увлекаться идеаломъ свѣтскаго молодого человѣка. Крестьянскимъ трудомъ вспоенъ и вскормленъ великій художественный талантъ земли русской, слава и гордость нашей литературы и нашего народа.

Говорю все это я безъ малѣйшей тѣни упрека кому и чему-бы то ни было, такъ какъ кто же можетъ быть повиненъ въ первородномъ грѣхѣ русской общественной жизни. Я просто указываю на фактъ, пропустить который не имѣю ни права, ни возможности, и притомъ фактъ огромной важности. Вѣдь владѣніе семистами душъ и позволило развиться безпрепятственно художественному дарованію графа Толстого, позволило ему безъ всякой торопливости переписать семь разъ «Войну и Миръ» — эту грандіозную эпопею русской народной жизни, нашу «Иліаду», все еще неоцѣненную и непонятую, именно потому, что она слишкомъ громадна. Право, если ужъ о томъ зашла рѣчь, мнѣ кажется порою, что еще 20 — 30 лѣтъ такой-же мелкой растерзанной литературной работы, которая совершается теперь на нашихъ глазахъ, и мы будемъ смотрѣть на «Войну и Миръ» съ такимъ-же чувствомъ почтительнаго удивленія, съ какимъ греки исторической эпохи смотрѣли на грандіозныя постройки Пелазговъ и Львиныя ворота, остатки стѣнъ, приписывая ихъ титанамъ и сторукимъ гигантамъ. Благодаря даровому крѣпостному труду, русская литература за какихъ нибудь пол-столѣтія стала классической, и ничего подобнаго ея быстрымъ успѣхамъ со времени «Руслана и Людмилы» и кончая «Анной Карениной» мы не видимъ даже на Западѣ.

Я не поклонникъ бѣдности и лишеній, не вѣрю, чтобы они ока-

зывали благопріятное впечатлѣніе на развитіе творчества, и думаю, что даже громадный талантъ изъ суровой школы нищеты и лишеній выноситъ одно зло. Когда для созданія выдающагося произведенія прописывается рецептъ, въ которомъ фигурируютъ чердакъ, нетопленная комната, сонъ вмѣсто обѣда, голодная жена и голодныя ребята—я всегда вспоминаю слова Гете: «Истинно великое прозведеніе можетъ быть создано только здоровымъ духомъ».

Но это между прочимъ. Передъ нами стоитъ другой вопросъ объ отношеніи графа Толстого къ народу въ годы его юности. Въ періодъ увлеченія comme il faut'ностью онъ, какъ мы видѣли, прямо презиралъ народъ и мужика. Но къ этому скверному чувству уже и тогда примѣшивался другой оттѣнокъ, неясный, робкій, но все-же замѣтный, какъ замѣтенъ слабый зеленый ростокъ побѣга на черной землѣ...

«Когда,—читаемъ мы въ «Юности»—на прогулкахъ въ деревнѣ я встрѣчалъ крестьянъ и крестьянокъ на работахъ, несмотря на то, что *простой народъ не существовалъ для меня*, я испытывалъ всегда безсознательное сильное смущеніе и старался, чтобы они меня не видѣли».

Что простой народъ «не существовалъ для меня», это съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства понятно, но не менѣе понятно и это безсознательное сильное смущеніе честной и правдивой натуры, честность и правдивость которой были завалены кучей мусора.

Отсюда. отъ этого «безсознательнаго, хотя и сильнаго смущенія», до любви къ мужику сначала, до преклоненія передъ его нравственными и жизненными идеалами впослѣдствіи еще очень и очень далеко. Но намъ, несмотря даже на неполноту относящихся сюда документовъ, необходимо подробно разсмотрѣть этотъ процессъ сближенія Толстого съ мужикомъ и народомъ. Почему надо подробно разсмотрѣть—это всякій знаетъ самъ.

Первою ступенью было признаніе мужика человѣкомъ, въ отношеніи котораго у всякаго есть свои нравственныя обязанности. Это немного, но что дѣлать съ жизнью, гдѣ за усвоеніемъ такого элементарнаго правила приходится обращаться къ западной просвѣтительной литературѣ и философамъ, которые въ самой пріятной и изящной формѣ сообщали, что мужикъ—человѣкъ.

Полагаю, что просвѣтительная литература оказала немалое вліяніе на развитіе графа Толстого. Мы видѣли, что въ университетѣ онъ занимается сравненіемъ «Наказа» и «Духа Законовъ»; къ этому же времени относится его увлеченіе Руссо. «Вспоминая

особенности Льва Николаевича, говоритъ Берсъ,—необходимо упомянуть объ отношеніи его къ произведеніямъ и взглядамъ Ж. Ж. Руссо. Нѣтъ сомнѣнія, что они имѣли огромное вліяніе на его произведенія. Онъ увлекался и зачитывался ими еще въ ранней молодости» («Вспоминанія» стр. 26).

Руссо и Толстой—родственные геніи. Исходная точка ихъ разсужденій одна и та же; но я думаю, что если бы они встрѣтились теперь съ глазу на глазъ, они не поняли бы другъ друга. Какъ и о Бернарденѣ-Сенъ-Пьерѣ, авторѣ знаменитаго когда-то проекта «вѣчнаго міра», Руссо сказалъ бы о Толстомъ: «онъ—мечтатель»...

Руссо любитъ природу, хотя и въ этой его любви, какъ вообще во всякомъ его чувствѣ, есть что-то аффектированное, больное. Онъ любитъ природу не за нее самое, а скорѣе за то, что ненавидитъ не-природу, нашу цивилизацію, «эту громадную надстройку человѣческаго разума и глупости, зла и преступленій, лжи и неправды надъ прекраснымъ Божьимъ міромъ». Руссо любитъ мужика, крестьянина, и опять-таки главнымъ образомъ потому, что ненавидитъ некрестьянина, аристократа, торгаша, чиновника.

Руссо прежде всего — обиженное сердце. Въ немъ, въ этомъ чуткомъ, болѣзненномъ и геніальномъ человѣкѣ, за время его долгой страдальческой жизни накопилось столько зла, раздраженія, ненависти, зависти, что онъ разучился любить, разучился быть искреннимъ и правдивымъ. Его застѣнчивость обратилась въ подозрительность и манію преслѣдованія, доброта—въ аффектированную чувствительность. Его геній великъ и правдивъ лишь въ ненависти.

Онъ былъ лакеемъ, нищимъ, труженикомъ и никогда не зналъ счастья. Его молодость прошла въ нищетѣ и лишеніяхъ, его старость — въ изгнаніи. Съ первой минуты своей сознательности онъ научился бояться окружающихъ людей и окружающей его жизни. Онъ ненавидѣлъ цивилизацію и боялся ее, но онъ понималъ, что человѣкъ безсиленъ отказаться отъ прошлаго и исторіи; онъ понималъ, что цивилизація для насъ неизбѣжное зло. Нигдѣ и ни разу не сказалъ онъ, что надо или можно вернуться къ дикой или первобытной жизни. Его судьба была слишкомъ сурова, чтобы онъ могъ вѣрить во всемогущество человѣка.

«Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повліялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовалась вообра-

женію Руссо историческая колыбель человѣчества. Не въ этомъ дѣло. Злое слово Вольтера: «читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четвереньках»,—это злое слово справедливо только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь живописную страстность отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ не степень развитія цивилизаціи, а ея типъ, и, наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ лишь ея типъ (общее равенство), ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета, грубость, какъ спутники низшей ступени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ, по Руссо, совсѣмъ не въ томъ, чтобы всѣ люди или какая-нибудь ихъ часть бѣгали на четвереньках, а въ сочетаніи первобытнаго типа (т. е. всеобщаго равенства) съ высокой степенью развитія» (Н. К. Михайловскій).

Таковъ Руссо, но не таковъ, какъ послѣ увидимъ, гр. Толстой. А между тѣмъ у нихъ много общаго, и въ этомъ общемъ на первомъ планѣ надо поставить вражду и ненависть къ лицемѣрнымъ формамъ нашей культурной жизни, гдѣ столько дѣлается для формы, для приличія, для общественнаго мнѣнія, что самому человѣку и его внутренней правдѣ не остается совершенно мѣста. Руссо хотѣлъ, чтобы формы жизни были приспособлены къ этой внутренней человѣческой правдѣ и позволяли бы ей свободно проявляться наружу. Толстой хочетъ отказаться отъ этихъ формъ, и полагаетъ, что это возможно. Одинъ, видя передъ собой храмъ лжи, говоритъ: «разберите его, тщательно сберегая всякій камень, гвоздь, балку, и изъ этого матеріала вамъ удастся *быть можетъ* воздвигнуть храмъ правды». Другой требуетъ, чтобы былъ воздвигнутъ новый храмъ.

Какъ измученный, несчастный человѣкъ, Руссо по необходимости—скептикъ. Онъ не вѣритъ въ подъемъ духа, онъ знаетъ, что вліяніе прошлыхъ 50 вѣковъ сильнѣе вліянія будущихъ 50 лѣтъ, что этихъ прошлыхъ 50 вѣковъ не вычеркнешь изъ организма человѣка, изъ его привычекъ и вѣрованій. Со всѣмъ этимъ надо считаться, все это можно только приспособлять, передѣлывать, но создавать нѣчто новое, прямо противоположное,—это мечта, это безумный сонъ...

Конечно, противорѣчіе между Руссо и Толстымъ развилось только впослѣдствіи. Въ юности онъ только увлекался страстными тира-

дами во славу природы и простоты жизни, во славу честнаго труда. И это увлеченіе не прошло безслѣдно; напротивъ, заброшенное великимъ женевцемъ зерно упало на родную почву, хотя до плодовъ было еще далеко. Увлекаясь Руссо, Толстой не могъ уже болѣе презирать народъ, и подъ вліяніемъ Руссо безсознательное и смутное смущеніе обратилось въ желаніе исполнить свой нравственный долгъ передъ крѣпостными семьюстами душами. Легко однако видѣть, что въ этихъ первыхъ попыткахъ сближенія много теоретическаго, навѣяннаго и мало сердца. Перечтите «Утро помѣщика», замѣнивши вездѣ, съ позволенія самого автора, «князя Нехлюдова» «графомъ Толстымъ».

Сюжетъ простъ и вразумителенъ:

«Доживши до девятнадцати лѣтъ и дойдя до третьяго курса университета, графъ Л. Толстой убѣждается въ томъ, что онъ достаточно образованъ и что ему давно пора приниматься за практическую дѣятельность. Онъ пріѣзжаетъ на лѣто въ свое имѣніе, видитъ тамъ, что мужики его разорены до тла, и, рѣшившись посвятить свою жизнь на улучшеніе ихъ участи, выходитъ изъ университета съ тѣмъ, чтобы навсегда поселиться въ деревнѣ. Толстой занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ, напримѣръ, онъ обходитъ утромъ дворы тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ-нибудь вспомоществованіи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, присматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами и старается посредствомъ увѣщаній внушать имъ любовь къ труду или искоренять ихъ пороки.

Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Л. Толстой къ Ивану Чурисенку, просившему себѣ какихъ-то кольевъ или сошекъ для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Толстой, что строеніе дѣйствительно никуда не годится, и Чурисенокъ разсказываетъ ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. «По спинѣ какъ колыхнетъ ее, такъ она до ночи замертво пролежала». Толстой, думая облагодѣтельствовать Чурисенка, предлагаетъ ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную избу, только-что выстроенную по герардовской системѣ. «Я,—говоритъ,—ее, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь». Но Чурисенокъ говоритъ: «воля вашего сіятельства», и въ то же время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала,

бросается въ ноги молодому помѣщику, начинаетъ выть и умолять барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой развалившейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій и не говорливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинаетъ описывать прелесть стараго мѣста. «Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное; и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье, что-ли, бабѣ стирать, скотину-ли поить,—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы—вотъ, что мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только-бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу». Что тутъ будешь дѣлать? Нельзя-же благодѣтельствовать насильно. Толстой отказывается отъ своего намѣренія и совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбой о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Толстой отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который онъ опредѣлилъ на починку крестьянскаго строенія. Но у Чурисенка на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говоритъ очень спокойно, что у міра просить не станетъ.— Толстой даетъ ему денегъ на покупку коровы и идетъ дальше. Входитъ онъ во дворъ къ Епифану или Юхванкѣ-Мудреному. Толстому извѣстно, что этотъ мужикъ любитъ по-своему сибаритствовать, курить трубку, обременяетъ свою старуху-мать тяжелой работой и часто продаетъ для кутежа необходимыя принадлежности своего хозяйства. Теперь Толстой узналъ, что Юхванка хочетъ продать лошадь; помѣщикъ хочетъ посмотрѣть, возможна-ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Толстой рѣшительно запрещаетъ Юхванкѣ эту коммерческую операцію. Юхванка въ разговорѣ съ бариномъ лжетъ ему въ глаза самымъ наглѣйшимъ образомъ и нисколько не смущается, когда Толстой на каждомъ шагу выводитъ его на свѣжую воду. Толстой, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать Юхванкину душу увѣщаніями и упреками, а Юхванка, продувная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину совершенно ясно, что онъ непремѣнно расхохотался бы надъ его совѣтами, если бы его не удерживало тонкое пониманіе галантерейнаго обращенія.—Пороть меня ты не будешь,—думаетъ Юхванка,— потому что совсѣмъ никого не порешь; на поселеніе тоже не сошлешь—пожалѣешь; а въ солдаты я не гожусь, спереди двухъ зубовъ нѣту. Значитъ, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на

всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать намѣренъ.—И Толстой, совершенно отмѣнившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юхванкой, что принужденъ по временамъ умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не расплакаться тутъ-же на Юхванкиномъ дворѣ передъ глазами нераскаяннаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадь, тайкомъ отъ безпутнаго Юхванки даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба».

Дальше идетъ разсказъ и еще о нѣсколькихъ мытарствахъ по крестьянскимъ избамъ; въ результатѣ то же самое, т. е. ничего, или вѣрнѣе одинъ вопросъ: почему-же эта просвѣтительная и гуманная попытка графа Толстого окончилась такъ неудачно? Писаревъ рѣшаетъ вопросъ просто: «Юный помѣщикъ, говоритъ онъ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается слить вино новое въ мѣха старые,—задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы и даже приноситъ вредъ (мужички распустились), когда приходитъ въ соприкосновеніе съ старыми формами крѣпостного быта».

Эта *общая* причина настолько понятна, что нечего о ней и распространяться. Филантропія въ отношеніи къ крѣпостному безправному мужику, настоенная на барскихъ дрожжахъ и идеяхъ просвѣтительной литературы, никогда никакого проку не приносила, да и не могла принести. Но есть еще и частная причина. Толстому едва исполнилось двадцать лѣтъ и, говоря его собственными словами, онъ «слишкомъ сильно сознавалъ въ себѣ присутствіе всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать—броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не сознавая за что, не зная зачѣмъ. Я носилъ въ себѣ это сознаніе, былъ гордъ имъ и, не зная этого, былъ счастливъ имъ». Въ личной жизни Толстого только-что начинался тотъ періодъ, который Гете такъ мѣтко назвалъ «Die Wanderjahre»—годы блужданія, и на самомъ дѣлѣ скоро мы увидимъ его на Кавказѣ, подъ Севастополемъ, въ Москвѣ, Петербургѣ, Самарѣ, заграницей. Не могла же барская филантропія, къ тому же очевидно безплодная, наполнить его существа и бытія. Не исчезло еще и желаніе закончить университетскій курсъ, почему въ 1847 г. Толстой ѣдетъ въ Петербургъ, начинаетъ держать экзаменъ, но, сдавши два или три, возвращается въ свою любимую

Ясную Поляну, гдѣ его ожидаетъ охота, чистый воздухъ, семья и много другихъ развлеченій.

III.

На Кавказѣ.

Три года, проведенные въ Ясной Полянѣ на лонѣ природы, пролетѣли незамѣтно и безъ особенныхъ треволненій. Но въ 1851 г. гр. Толстой сильно проигрался и увидѣлъ, что при прежней своей жизни онъ никакъ не сумѣетъ уплатить долга. Это-то и было одною изъ причинъ, побудившихъ его отправиться на Кавказъ—не на службу, а просто для перемѣны мѣста, впечатлѣній и ради экономіи. Онъ это и сдѣлалъ, давши себѣ предварительно разъ двадцать слово «больше этихъ проклятыхъ картъ никогда не брать въ руки».

На Кавказѣ въ то время служилъ офицеромъ старшій его братъ, Николай Николаевичъ, съ которымъ онъ былъ особенно близокъ и друженъ.

Въ тарантасѣ, въ сопровожденіи прислуги, братья поѣхали изъ Казани на лѣвый, т. е. восточный, флангъ нашей позиціи, вдоль Волги. Ѣзда на лошадяхъ скоро наскучила. Они пріобрѣли громадную лодку, уставили на нее тарантасъ, сѣли и предоставили себя теченію рѣки, занимаясь чтеніемъ и любуясь природой. Путешествіе длилось около трехъ недѣль, пока они пріѣхали въ Астрахань. На нижнемъ теченіи Волги, приставая къ берегамъ, они то и дѣло встрѣчались съ полудикими калмыками, вѣчно сидящими у костра. Въ то время калмыки были еще огнепоклонниками.

Воспоминанія объ этой поѣздкѣ сохранились впрочемъ самыя смутныя. Не то о Кавказѣ. Л. Толстой всегда любилъ вспоминать о своемъ пребываніи тамъ, на югѣ. Богатая природа, чудная охота, которой онъ предавался со страстью почти всю свою жизнь, вплоть до нравственнаго переворота, война съ горцами—все это нравилось ему и все это его вдохновляло. Тамъ впервые проснулось его творчество, тамъ мысль объ опрощеніи впервые явилась ему въ голову.

Кавказская жизнь Л. Н. Толстого очень богата всевозможными эпизодами. Одинъ изъ этихъ эпизодовъ послужилъ темою повѣсти «Кавказскій Плѣнникъ», почему мы его и приведемъ въ изложеніи Берса.

«Мирный чеченецъ Содо, съ которымъ Левъ Николаевичъ былъ

друженъ, купилъ молодую лошадь и пригласилъ друга проѣхаться съ нимъ изъ крѣпости, гдѣ былъ расположенъ тогда отрядъ русскаго войска. Съ ними поѣхали верхомъ еще два офицера артиллеріи. Несмотря на запрещеніе начальствомъ такихъ поѣздокъ въ виду ихъ опасности, они ничѣмъ не вооружились, кромѣ шашекъ. Испытавъ свою лошадь, Содо предоставилъ ее другу, а самъ пересѣлъ на его иноходца, который, какъ извѣстно, скакать не умѣетъ. Они были уже верстахъ въ пяти отъ крѣпости. Неожиданно передъ ними показалась группа чеченцевъ человѣкъ въ двадцать. Чеченцы начали вынимать ружья изъ чехловъ и раздѣлились на двѣ партіи. Одна партія преслѣдовала двухъ офицеровъ, поскакавшихъ обратно въ крѣпость, и настигла ихъ. Одинъ изъ нихъ былъ изрубленъ, а другой попался въ плѣнъ. Содо, а за нимъ и Левъ Николаевичъ пустились по другому направленію, къ казачьему пикету, расположенному въ одной верстѣ. Гнавшіеся чеченцы уже приближались къ нимъ. Имъ предстояла перспектива лишиться жизни или очутиться въ плѣну, и слѣдовательно сидѣть въ ямѣ, потому что горцы вообще отличаются жестокостью въ обращеніи съ плѣнными. Левъ Николаевичъ, имѣя возможность ускакать на рѣзвой лошади своего друга, не покинулъ его. Содо, подобно всѣмъ горцамъ, никогда не разставался съ ружьемъ, но, какъ на бѣду, оно не было заряжено. Тѣмъ не менѣе онъ нацѣлилъ имъ на преслѣдователей и, угрожая, покрикивалъ на нихъ. Судя по дѣйствіямъ преслѣдовавшихъ, они намѣревались взять въ плѣнъ обоихъ, особенно Содо, для мести, а потому не стрѣляли. Обстоятельство это спасло ихъ. Они успѣли приблизиться къ пикету, гдѣ зоркій часовой издали замѣтилъ погоню и сдѣлалъ тревогу. Выѣхавшіе навстрѣчу казаки принудили чеченцевъ прекратить преслѣдованіе».

«...Содо, продолжаетъ Берсъ,—искренно любилъ своего друга. Однажды онъ воспользовался случаемъ удружить своему кунаку. Какъ-то Левъ Николаевичъ проигрался въ карты и вошелъ въ долгъ. Уплатить въ срокъ не было возможности, а извѣстія изъ деревни не оправдали ожидаемой получки денегъ. Это мучило его. Положеніе среди молодежи богатаго юнкера графа Толстого, не заплатившаго карточный долгъ въ срокъ, имъ назначенный, для самолюбія его было ужасно. Онъ приходилъ въ отчаяніе и прибѣгнулъ къ молитвѣ. Посланный отъ Содо прервалъ молитву и подалъ письмо. Въ письмѣ было разорванное обязательство. Оказалось, что наканунѣ Содо удачно игралъ въ карты и воспользовался выигрышемъ для подарка другу мучившаго его долга».

На службу, какъ я сказалъ выше, гр. Толстой сначала и не думалъ даже поступать. Все его время наполнялось чтеніемъ и главное—охотой подъ руководствомъ стараго казака Епишки, извѣстнаго русскимъ читателямъ подъ именемъ Ерошки, одного изъ характернѣйшихъ лицъ въ «Казакахъ»... Встрѣтившись однако съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, занимавшимъ важное мѣсто въ штабѣ, гр. Толстой по его совѣту опредѣлился юнкеромъ въ артиллерію и не разъ принималъ участіе въ мелкихъ стычкахъ, описанныхъ имъ впослѣдствіи въ «Набѣгѣ», «Рубкѣ лѣса», «Казакахъ». До службы же онъ жилъ очень скромно на 5 рублей въ мѣсяцъ и скоро выплатилъ мучившій его карточный долгъ.

Какимъ путемъ Толстой открылъ въ себѣ литературный талантъ, неизвѣстно. Очень можетъ быть, что виноватъ въ этомъ былъ его старшій братъ, неравнодушный къ литературѣ, а очень можетъ быть и то, что творческія стремленія искали себѣ выхода и выраженія. Въ Ясной Полянѣ эти стремленія тратились на музыку, которой Толстой предавался со страстью; но заниматься музыкой въ лагерѣ или крѣпости было невозможно. Первымъ (въ 1852 г.) было написано «Дѣтство», за которымъ немедленно же послѣдовали: «Утро помѣщика», «Случай», «Отрочество», составленъ былъ планъ «Казаковъ», задумана «Юность».

«Дѣтство», законченное 9 іюля 1852 г., было отправлено въ «Современникъ» Некрасову, который поторопился напечатать эту повѣсть, учуявъ по ней нарожденіе новаго сильнаго таланта.

Обратимся теперь къ тому, что̀ составляетъ сущность біографіи Л. Н. Толстого,—его духовной жизни. Что думалъ онъ и какъ чувствовалъ онъ себя на Кавказѣ?

Разумѣется, у 23-лѣтняго даровитаго писателя не могло быть одного господствующаго настроенія. Настроенія мѣнялись въ зависимости отъ обстановки и окружающихъ лицъ. Были мечты о славѣ литературной, о военной славѣ, было даже желаніе опроститься.

Живя въ казацкой станицѣ (на лѣвомъ берегу Терека, недалеко отъ Кизляра), въ обществѣ казака Епишки, этого хитраго, себѣ на умѣ, но цѣльнаго человѣка, безъ противорѣчій внутри себя, видя себя окруженнымъ такими же, какъ Епишка, цѣльными, живущими безъ аффектацій, безъ надломленности, а просто такъ, какъ трава растетъ, людьми; охотясь за фазанами и кабанами, бродя по лѣсамъ и болотамъ, припоминая отвратительные вечера, проведенные за картами или въ обществѣ продажныхъ цыганокъ, что̀ дол-

жно было казаться особенно отвратительнымъ въ свѣжемъ воздухѣ и подъ тѣнью громадныхъ каменныхъ титановъ хребта,—Толстой проникался прелестью этой простой, не знающей душевной надломленности жизни. Съ какимъ восторгомъ вспоминаетъ онъ впослѣдствіи о пережитомъ имъ настроеніи въ казацкой станицѣ и говоритъ:

«Мнѣ пишутъ письма соболѣзнованія, боятся, что я погибну, зарывшись въ этой глуши;—говорятъ про меня: онъ загрубѣетъ, отъ всего отстанетъ и, чего добраго, женится на казачкѣ. Какъ страшно! Въ самомъ дѣлѣ, не погубить бы мнѣ себя, тогда какъ на мою долю могло выпасть великое счастіе стать мужемъ графини Б., камергеромъ или дворянскимъ предводителемъ. Какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастіе и что такое жизнь? *Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ.* Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой вѣчные неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ ея первобытной красотѣ. Поймите одно или вѣрьте одному: надо видѣть и понять, что такое правда и красота, и въ прахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія счастія и за меня, и за себя. *Счастіе—это быть съ природою, видѣть ее, говорить съ нею*».

«Надо испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ, чтобы понять счастье». А что такое счастье? *Не больше*, какъ «быть съ природой, видѣть ее, говорить съ нею». Не больше? А куда же дѣть мечты о славѣ и власти, о восторгѣ и преклоненіи ближнихъ? Вѣдь они вѣчно тутъ, и кипятъ, и бурлятъ въ молодой жадной интеллигентной душѣ... Стать Епишкой, не думать о завтра, жить, какъ трава растетъ, умирать, какъ падаетъ съ дерева увядшій листъ, не оставивъ по себѣ ни слѣда, ни воспоминанія, или быть подстрѣленнымъ чеченцемъ, не пропѣвши даже своей лебединой пѣсни—увы!—все это не дано интеллигенту...

Вѣдь рядомъ съ мечтами объ опрощеніи у того же Толстого идутъ другія мечты... о полученіи георгіевскаго креста и украшеніи груди своей этимъ знакомъ отличія. А вѣдь для «простоты» ни креста, ни отличій не надо. По разсказу Берса:

«Во время службы на Кавказѣ, Левъ Николаевичъ *страстно* желалъ получить Георгіевскій крестъ и былъ даже къ нему представленъ, но не получилъ его, вслѣдствіе личнаго нерасположенія къ нему одного изъ начальниковъ. Эта неудача *огорчила* его, но вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнила его взглядъ на храбрость. Онъ пересталъ считать храбрыми тѣхъ, кто лѣзли въ сраженіе и домогались зна-

ковъ отличія. Его идеаломъ храбрости сдѣлалось разумное отношеніе къ опасности».

Толстой страстно желаетъ получить Георгіевскій крестъ, какъ нѣсколько лѣтъ спустя опять-таки страстно желаетъ получить флигель-адъютантство, какъ еще немного позже клянется убить себя, если за него не выдадутъ замужъ Софью Андреевну Берсъ, и смыслъ всѣхъ этихъ страстныхъ желаній только тотъ, что не вычеркнешь изъ сердца своего тѣхъ инстинктовъ, потребностей и привычекъ, которые завѣщаны вѣками. Не вычеркнешь ихъ особенно въ молодости—въ этотъ періодъ напора эгоистическихъ страстей... Да и зачѣмъ ихъ вычеркивать?... Страсть эта—тотъ вѣтеръ, о которомъ моряки говорятъ: «попутный или противный—плыть можно, *лишь бы былъ вѣтеръ*». Страсть—сама жизнь, и такъ какъ, разъ появившись, она уничтожаетъ вопросъ о «смыслѣ жизни», то она пожалуй и есть искомый таинственный смыслъ нашего бытія...

Находясь постоянно въ обществѣ казаковъ и солдатъ, Толстой полюбилъ простой народъ, полюбилъ уже сердцемъ, а не разсудкомъ только, какъ это было подъ вліяніемъ просвѣтительной философіи. Особенное сердечное впечатлѣніе произвели на него солдаты—эти излюбленные герои величайшаго произведенія Толстого «Войны и Мира», эти «*они*», научившіе впослѣдствіи Пьера Безухова правдѣ жизни... Читая кавказскіе разсказы, вы уже предчувствуете Петра Каратаева и его наивный, дѣтскій, но исполненный глубочайшаго смысла фатализмъ...

Мнѣ кажется, что полюбить простой народъ на Кавказѣ было гораздо легче (съ точки зрѣнія традицій стараго барства), чѣмъ въ Ясной Полянѣ. Тамъ между бариномъ и мужикомъ стояла непроходимая стѣна—крѣпостныя отношенія. Мужикъ являлся грязнымъ, забитымъ, вонючимъ вьючнымъ животнымъ; здѣсь онъ то и дѣло оказывался *героемъ*. Когда человѣкъ невольно считаетъ себя выше другого, можетъ ли онъ полюбить его?—Нѣтъ. Казаки не позволяли Толстому считать себя выше ихъ; онъ самъ видѣлъ, что солдаты выше его. Установилось равенство. А любовь возможна только при немъ.

Въ кавказскихъ впечатлѣніяхъ Толстого есть и еще одинъ мотивъ, всю важность котораго я хотѣлъ бы особенно вразумительно представить читателю. Ясности ради, позволю себѣ привести маленькій отрывокъ изъ поэмы Лермонтова «Валерикъ»:

Уже затихло все; тѣла
Собрали въ кучу. Кровь текла

Струею дымной по каменьямъ;
Ея тяжелымъ испареньемъ
Былъ полонъ воздухъ. Генералъ
Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ
И донесенья принималъ.
Окрестный лѣсъ, какъ-бы въ туманѣ,
Синѣлъ въ дыму пороховомъ...
А тамъ, вдали—грядой нестройной,
Но вѣчно гордой и спокойной,
Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ
Тянулись горы—и Казбекъ
Сверкалъ главой остроконечной...
И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: „жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... *Зачѣмъ?*...

Чѣмъ былъ Кавказъ во время Толстого? Отчасти, разумѣется, тѣмъ же, чѣмъ онъ является и въ настоящее время,—мѣстомъ удивительнымъ по своей красотѣ и разнообразію своей природы, гдѣ переѣздъ въ нѣсколько часовъ переноситъ васъ изъ царства «орловъ и метелей» въ нѣжныя и зеленыя долины Грузіи или нижняго Терека,—страною, гдѣ лавры, мирты, кипарисы цвѣтутъ на свѣжемъ воздухѣ, гдѣ почти ни на одну минуту не упускаете вы изъ виду снѣговой шапки Казбека или Эльбруса. Для сѣверянина или жителя средней Россіи Кавказъ всегда имѣлъ и будетъ имѣть особенную прелесть чего-то грандіознаго, неожиданнаго, поражающаго. Горячее пламенное солнце, бурныя стремительныя рѣки, раздвигающія скалы съ какимъ-то злымъ ропотомъ, молчаливые заросшіе лѣсомъ утесы, на вершинахъ которыхъ гнѣздятся орлы да люди, голубое прозрачное небо, громадные дубовые лѣса, заросшіе азаліями, въ пахучихъ вѣтвяхъ которыхъ гнѣздятся безчисленные неутомимые соловьи, какой-то странный синій оттѣнокъ горъ—все это будитъ фантазію, навѣваетъ думы и образы... Теперь, правда, большая дорога пролегаетъ тамъ и здѣсь, въ долинѣ Куры, то и дѣло слышится свистъ локомотива, громыханіе поѣздовъ, наполненныхъ нефтью, острый запахъ угля... Исполнилось то, что говорилъ Лермонтовъ:

И желѣзная лопата въ каменную грудь,
Добывая мѣдь и злато, врѣжетъ страшный путь...

— но во время Толстого, слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, дикая поэзія природы была замѣтнѣе, больше на виду... Не рѣзче ли и чувствовалось тогда противорѣчіе между гордымъ миромъ природы и безпокойнымъ ропотомъ человѣка?... Вѣдь, какъ и все въ мірѣ, Кавказъ пошлѣетъ. Тотъ самый чеченецъ, который нѣкогда горѣлъ страстнымъ желаніемъ зарѣзать васъ или подстрѣлить, мечтаетъ лишь о полученіи двугривеннаго на чай, порою за довольно грязное порученіе. Въ ущельяхъ, гдѣ прежде безраздѣльно царили метели и орлы, тамъ и здѣсь понастроены рестораны, кабаки и хуже того. То же въ тѣни миртъ, лавровъ и акацій. Казбекъ, разумѣется, попрежнему «сіяетъ своими вѣчными снѣгами», какъ грань алмаза, но по грузинской дорогѣ, вмѣстѣ съ его бѣлой шапкой, заостренной какъ сахарная голова, виду вашему открывается гостепріимная гостинница, откуда постоянно доносится пьяный гулъ. Тутъ же васъ ожидаютъ назойливые грязные ребятишки, которые бѣгаютъ за вами какъ собачонки и пищатъ просьбы о пятакѣ или пятиалтынномъ. Самъ грузинъ не льетъ уже вина на узорные шальвары, потому что вино распродано еще до сбора, а предпочитаетъ во многихъ мѣстахъ пиво и водку. Поэтичныхъ черкешенокъ вы не увидите, или же встрѣтите ихъ на базарѣ торгующими гнилыми грецкими орѣхами, а еще чаще въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бы не слѣдовало быть ни поэтичнымъ, ни непоэтичнымъ женщинамъ. Самая природа получила тамъ и здѣсь рѣзкій отпечатокъ жадности, нищеты человѣческой. Лѣса повырублены; самъ Терекъ бьется безъ прежняго задора: онъ точно одряхлѣлъ, нѣтъ ужъ болѣе ничего кровожаднаго и страшнаго въ его когда-то кровожадной и страшной пасти—Дарьяльскомъ ущельи.

Но сорокъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ красоты поэтическія и прелесть Кавказа выдавались рѣзче, рельефнѣе и опредѣленнѣе... И какъ странно было видѣть среди этой грандіозной могучей природы маленькихъ людей, мучающихъ себя, убивающихъ себя, интригующихъ, завидующихъ,—и даже любящихъ и ненавидящихъ. Странной казалась смерть живого существа отъ крошечной пульки подъ суровыми взглядами холоднаго Казбека, подъ вѣковыми чинарами, шептавшими о чемъ-то вѣчномъ, таинственномъ...

Какъ же не задать себѣ вопроса «зачѣмъ?...». Перечтите кавказскіе разсказы Толстого, и вы увидите этотъ вопросъ на каждой страницѣ. Это вопросъ высокой и вмѣстѣ съ тѣмъ наивной (съ нашей точки зрѣнія) души художника...

IV.

Подъ Севастополемъ.

Война скрываетъ въ себѣ много рѣзкихъ противорѣчій—жестокости и гуманности, нашей безсознательной симпатіи къ ближнему и нашей вражды къ нему, разъ онъ съ другими, чѣмъ мы, погонами, нашей жалости къ страдающему и нашей радости при видѣ раненаго или умирающаго врага. Но эти рѣзкія противорѣчія, затемненныя молодостью, надеждами на крестъ и военные лавры, не открылись Толстому на Кавказѣ во всей ихъ полнотѣ, въ чемъ была между прочимъ повинна и самая обстановка. Войны на Кавказѣ, строго говоря, никакой не было, а происходилъ безконечный рядъ турнировъ, что было давно, уже—задолго до Толстого, замѣчено проницательнымъ взглядомъ Ермолова, который, явившись на Кавказъ, первымъ дѣломъ заявилъ: «довольно за крестами гоняться, пора начать дѣло дѣлать». Совершенно другимъ представляется намъ оборона Севастополя и севастопольская кампанія вообще. Здѣсь Россія грудь грудью боролась съ половиной Западной Европы, гораздо болѣе культурной, лучше ея вооруженной, богатой и многочисленной, и война была страшная, грандіозная, хотя и сосредоточившаяся на ничтожномъ пространствѣ земли. Здѣсь же, подъ Севастополемъ, окрѣпла мысль Толстого и впервые является передъ нами въ полной зрѣлости.

Севастопольская кампанія подготовлялась долгіе годы. Россію не любили въ Англіи, терпѣть не могли во Франціи, боялись въ Австріи и завидовали ей въ Пруссіи. И понятно, почему такъ оно было. Императоръ Николай распоряжался въ Европѣ почти такъ же, какъ у себя дома. Онъ читалъ нравоученія и дѣлалъ предписанія европейскимъ монархамъ, какъ своимъ подданнымъ. Укротивъ венгерцевъ, онъ сталъ какъ бы опекуномъ Австріи и поотечески относился къ ея тогда еще молодому монарху. Онъ былъ недоволенъ Пруссіей за реформы 48-го года и ясно выказывалъ свое недовольство. Онъ отказался признать Наполеона III-го императоромъ и отказывалъ ему въ титулѣ mon frère.... Но его боялись, и долгое время страхъ сдерживалъ всѣ попытки противодѣйствія этому невиданному авторитету, напоминавшему авторитетъ Людовика XIV-го и Наполеона I-го.

Война началась въ 1853 г., и на первыхъ порахъ пришлось

бороться съ одной Турціей, которую до поры до времени Европа поддерживала лишь тайно; 2-го іюля русскія войска перешли Прутъ и заняли Молдавію. 4 ноября была оффиціально объявлена война, а 30-го числа того же мѣсяца адмиралъ Нахимовъ уничтожилъ турецкій флотъ при Синопѣ. Это взбудоражило и испугало европейцевъ: тотчасъ же послѣ синопской битвы французы и англичане объявили Россіи войну, а черезъ годъ началась знаменитая осада Севастополя, искупившая всѣ предыдущіе грѣхи этой кампаніи.

Графъ Толстой съ открытіемъ Восточной войны перепросился въ дунайскую армію и былъ прикомандированъ къ главному штабу главнокомандующаго графа Горчакова. Взявши отпускъ, онъ съѣздилъ сначала къ себѣ въ Ясную Поляну, повидался тамъ съ братьями и Ергольской, и немедленно же отправился на театръ военныхъ дѣйствій, рѣшившись повидимому во что бы то ни стало пріобрѣсти военные лавры, ускользнувшіе отъ него на Кавказѣ.

Замѣтимъ между прочимъ, что, какъ солдатъ и офицеръ, Л. Н. Толстой отличался всегда безукоризненною храбростью. Сначала, разумѣется, къ этой его храбрости примѣшивалось тщеславное желаніе выказать себя съ самой блестящей стороны, но впослѣдствіи осталось лишь спокойное мужество, которое онъ цѣнилъ какъ лучшее и высшее качество военнаго человѣка. Въ своихъ произведеніяхъ онъ не разъ ставитъ себѣ вопросъ, что можно считать за храбрость и кто дѣйствительно храбръ, и всегда отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что храбръ тотъ, кто при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ исполняетъ свой долгъ солдата или офицера безразлично. Не бояться смерти—не значитъ быть храбрымъ, потому что нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который бы не боялся смерти; за то есть много такихъ, которые говорятъ, что они не боятся, и хвастаютъ этимъ. Истинно храбрые люди—солдаты на вопросъ: «а ты развѣ боишься?» всегда отвѣчаютъ у Толстого: «а то какъ же?» Рваться безъ толку впередъ, нарочно выбирать самыя опасныя мѣста, когда этого совсѣмъ не нужно, гарцовать подъ непріятельскими пулями—совсѣмъ не значитъ быть храбрымъ, а только или тщеславнымъ, или отчаяннымъ, т. е. человѣкомъ лишь очень и очень относительно полезнымъ, а въ большинствѣ случаевъ прямо вреднымъ. Солдаты не считаютъ постыднымъ или унизительнымъ наклонить голову при летящей бомбѣ или лечь на землю, когда разрывается граната; но тѣ же солдаты, не задумываясь, идутъ въ адскій огонь, *когда это нужно*. Вотъ она, истинная храбрость, безъ заботъ о знакахъ отличія, о мнѣніи другихъ, безъ ложнаго стыда и безъ признака тще-

славія. Такіе типы, какъ капитанъ Хлоповъ въ «Набѣгѣ», Тушинъ и Тимохинъ въ «Войнѣ и Мирѣ»—подлинные храбрецы, но ничего эффектнаго они не производятъ. Вотъ маленькая сценка изъ «Набѣга», иллюстрирующая взгляды Толстого.

«Что же онъ храбрый былъ? спросилъ я капитана.—А Богъ его знаетъ: все бывало впереди ѣздитъ; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ. — Такъ стало быть храбрый, сказалъ я. — Нѣтъ, это не значитъ—храбрый, что суется туда, куда его не спрашиваютъ.— Что же вы называете храбрымъ? Храбрый? Храбрый? повторялъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ: — храбрый тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ, сказалъ онъ, немного подумавъ.

Я вспомнилъ, что Платонъ опредѣляетъ храбрость *знаніемъ того, чего нужно, и чего не нужно бояться*, и несмотря на общность и неясность выраженія въ опредѣленіи капитана, я подумалъ, что основная мысль обоихъ не такъ различна, какъ могло бы показаться, и что даже опредѣленіе капитана вѣрнѣе опредѣленія греческаго философа, потому что, еслибъ онъ могъ выражаться такъ же, какъ Платонъ, онъ вѣрно сказалъ бы, что храбръ тотъ, кто боится только того, *чего слѣдуетъ бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*. Мнѣ хотѣлось объяснить свою мысль капитану.—Ну, ужъ этого не умѣю вамъ доказать, сказалъ онъ, накладывая трубку:—а вотъ у насъ есть юнкеръ, такъ тотъ любитъ пофилософствовать. Вы съ нимъ поговорите. Онъ и стихи пишетъ».

Я для того выписалъ цѣликомъ всю эту маленькую сценку, чтобы читатель увидѣлъ еще одинъ элементъ храброй души, какъ она является передъ нами въ произведеніяхъ Л. Толстого. Этотъ элементъ—простодушіе, граничащее иногда съ наивностью ребенка. На самомъ дѣлѣ, припомните Тушина, по дѣтски застыдившагося, когда его увидѣли безъ сапогъ,—или Тимохина, постоянно краснѣющаго, разъ къ нему обращаются съ рѣчью; того же Хлопова, «что-то ужъ очень долго набивавшаго въ углу трубку», т. е. попросту плакавшаго послѣ полученія вѣсточки отъ своей старухи матери. Вѣдь это все дѣти, большія, хорошія дѣти, въ чистомъ сердцѣ которыхъ грязь жизни не оставила ни одного пятна.... Эти храбрецы— дѣти народа, сохранившіе непорванными всѣ духовныя связи съ породившей ихъ почвой.

Эту-то храбрость видѣлъ передъ собой постоянно графъ Толстой, эту-то храбрость онъ уважалъ и цѣнилъ, и ее-то старался выработать въ себѣ. Расширьте теперь область ея примѣненія, вы-

ведите ее изъ лагеря или поля сраженія и вы получите то рѣдкое и драгоцѣнное качество, которое можетъ быть названо мужествомъ жизни. И оно, какъ и храбрость, принадлежитъ прежде всего народному (но не интеллигентному) духу и составляетъ красоту его.

Надо быть большимъ человѣкомъ и обладать проницательнымъ взглядомъ художника, чтобы разсмотрѣть эту красоту и умѣть любоваться ею. Толстой сумѣлъ сдѣлать это, и почва для любви къ народу и сердечной къ нему привязанности была готова. Нехлюдовщина, теоретическое признаніе отвѣтственности передъ мужикомъ, красивыя фразы просвѣтительной философіи отчасти на Кавказѣ, но главнымъ образомъ подъ стѣнами Севастополя, замѣнились другимъ, болѣе прочнымъ и высокимъ чувствомъ—любовью и преклоненіемъ передъ красотой народной души. Пока эта красота выражалась прежде всего въ *храбрости*. Впослѣдствіи, какъ увидимъ, Толстой разсмотрѣлъ и большее—*мужество жизни*.

Въ Севастополь Толстой прибылъ въ ноябрѣ 1854 года и остался здѣсь вплоть до конца осады. Въ маѣ 55-го онъ назначенъ былъ командиромъ горнаго дивизіона и принималъ горячее участіе въ несчастной для насъ битвѣ при Черной рѣчкѣ (11-го августа).

Вотъ что между прочимъ говоритъ о немъ одинъ изъ его севастопольскихъ сослуживцевъ: «Толстой своими разсказами и наскоро набросанными куплетами одушевлялъ всѣхъ и каждаго въ трудныя минуты боевой жизни. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ душой нашего общества. Толстой съ нами—и мы не видимъ, какъ летитъ время, и нѣтъ конца общему веселью; нѣтъ графа, укатилъ въ Симферополь,—и всѣ носы повѣсили. Пропадаетъ день, другой, третій. Наконецъ, возвращается, ну, точь-въ-точь блудный сынъ,—мрачный, исхудалый, недовольный собою. Отведетъ меня въ сторону подальше и начнетъ покаяніе. Все разскажетъ: — какъ кутилъ, игралъ, гдѣ проводилъ дни и ночи, и при этомъ, вѣрите ли, казнится и мучится, какъ настоящій преступникъ. Даже жалко смотрѣть на него—такъ убивается. Вотъ это какой человѣкъ! Однимъ словомъ, странный и не совсѣмъ для меня понятный, а съ другой стороны это былъ рѣдкій товарищъ, честнѣйшая душа, и забыть его рѣшительно невозможно»—(«Историч. Вѣстн.», ноябрь 90 г.).

Съ однимъ изъ куплетовъ, сочиненныхъ графомъ Толстымъ, случилась маленькая исторія, познакомиться съ которой не безъинтересно. Пѣсня относилась къ несчастной битвѣ 4-го августа и, написанная въ народномъ духѣ, скоро пріобрѣла широкую попу-

лярность. Ее, говоря безъ преувеличенія, распѣвало все войско. Содержаніе ея слѣдующее:

Какъ четвертаго числа
Насъ нелегкая несла
Гору забирать...
Баронъ Вревскій, генералъ,
Къ Горчакову приставалъ
  Когда подъ шафе:
Князь, возьми ты эту гору,
Не входя со мною въ ссору,
  Не то донесу.
Собирались на совѣты
Все большія эполеты,
  Даже плацъ—Бекокъ...
Полицмейстеръ плацъ Бекокъ
Никакъ выдумать не могъ,
  Что̀ ему сказать.
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
  На большомъ листу.
Гладко писано въ бумагѣ,
Да забыли про овраги,
  А по нимъ ходить.
. . . . . .
Глядь, Реадъ возьми да съ-просту
И повелъ насъ прямо къ мосту:
  Ну-ка на ура.
На ура! Мы зашумѣли
Да лезервы не поспѣли,
  Кто-то перевралъ.
На Федюхины высоты
Насъ пришло всего три роты,
  А пошли полки.
Наше войско небольшое,
А француза было втрое
  И секурсу тьма.
Ждали, выйдетъ съ гарнизона
Намъ на выручку колонна,
  Подали сигналъ.
А тамъ N N генералъ
Все акаѳисты читалъ...
  И пришлось намъ отступать..

(„*Русская Старина*“ *1884 г., Т. № 41*).

Толстой какъ разъ въ это время ожидалъ награды за дѣло при Черной и мечталъ даже о флигель-адъютантствѣ, но до свѣдѣнія начальства дошло, что авторъ сатирической пѣсни—онъ, и съ мечтами о флигель-адъютантствѣ пришлось распроститься, какъ два года назадъ съ мечтами о георгіевскомъ крестѣ...

Несмотря на безпокойную военную жизнь, Толстой и подъ Севастополемъ не бросилъ литературныхъ занятій. Здѣсь были имъ написаны «Севастополь въ декабрѣ 1854 г.», «Севастополь въ маѣ 55 г.», «Рубка лѣса» и «Севастополь въ августѣ 55 г.». Разсказываютъ, что императрица Александра Ѳеодоровна плакала, читая первый Севастопольскій очеркъ Толстого, а государь Николай I приказалъ «слѣдить за жизнью молодого писателя» и даже перевести его съ 4-й батареи въ болѣе безопасное мѣсто.

27-го августа Толстой участвовалъ при штурмѣ Севастополя, когда былъ взятъ Малаховъ курганъ, и затѣмъ его отправили курьеромъ въ Петербургъ. Этимъ и заканчивается его военная карьера.

Намъ надо теперь поближе присмотрѣться къ севастопольскимъ впечатлѣніямъ нашего великаго писателя.

«Первое впечатлѣніе ваше отъ Севастополя,—разсказываетъ Толстой,—непремѣнно самое непріятное: странное смѣшеніе лагерной и городской жизни, красиваго города и грязнаго бивуака, не только не красиво, но кажется отвратительнымъ безпорядкомъ; вамъ даже покажется, что всѣ перепуганы, суетятся, не знаютъ, что дѣлать. Но вглядитесь ближе въ лица этихъ людей, движущихся вокругъ васъ, и вы поймете совсѣмъ другое. Посмотрите хоть на этого фурштадтскаго солдатика, который ведетъ поить какую-то гнѣдую тройку и такъ спокойно мурлыкаетъ себѣ что-то подъ носъ, что, очевидно, онъ не заблудился въ этой разнородной толпѣ, которой для него и не существуетъ, но что онъ исполняетъ свое дѣло, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудія — такъ же спокойно, самоувѣренно и равнодушно, какъ бы все это происходило гдѣ-нибудь въ Тулѣ или Саранскѣ. То же выраженіе читаете вы и на лицѣ этого офицера, который, въ безукоризненно бѣлыхъ перчаткахъ, проходитъ мимо, и въ лицѣ матроса, который куритъ, сидя на баррикадѣ, и въ лицѣ рабочихъ солдатъ, съ носилками дожидающихся на крыльцѣ бывшаго собранія, и въ лицѣ этой дѣвицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкамъ перепрыгиваетъ чрезъ улицу».

Во всемъ этомъ нѣтъ ничего героическаго, великаго. Но прежде чѣмъ сомнѣваться, сходите на бастіоны, посмотрите защитниковъ Севастополя на самомъ мѣстѣ защиты, или лучше зайдите прямо напротивъ въ домъ, бывшій прежде севастопольскимъ собраніемъ и гдѣ на крыльцѣ стоятъ солдаты съ носилками,—вы увидите тамъ защитниковъ Севастополя, увидите тамъ ужасныя и грустныя, великія и забавныя, но изумительныя, возвышающія душу, зрѣлища.

Вотъ напр. одно изъ «возвышающихъ душу зрѣлищъ», описанное почти шекспировскою кистью:

«— Ты куда раненъ? — спрашиваете вы нерѣшительно и робко у одного стараго и исхудалаго солдата, который, сидя на койкѣ, слѣдитъ за вами добродушнымъ взглядомъ и какъ будто приглашаетъ подойти къ себѣ. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страданія, кромѣ глубокаго сочувствія, внушаютъ почему-то страхъ оскорбить и высокое уваженіе къ тому, кто переноситъ ихъ.

— Въ ногу, отвѣчаетъ солдатъ; но въ это самое время вы сами замѣчаете по складкамъ одѣяла, что у него ноги нѣтъ

Гос. Б-ка Ин. Наук. БИБЛИОТЕКА

выше колѣна. — Слава Богу теперь, прибавляетъ онъ: — на выписку хочу.

— А давно ты уже раненъ?

— Да вотъ шестая недѣля пошла, ваше благородіе.

— Что же болитъ у тебя теперь?

— Нѣтъ, теперь не болитъ ничего; только какъ будто въ икрѣ ноетъ, когда непогода, а то ничего.

— Какъ же ты это былъ раненъ?

— На 5-мъ баксіонѣ, ваше благородіе, какъ первая бандидировка была: навелъ пушку, сталъ отходить, этакимъ манеромъ, къ другой амбразурѣ, какъ *онъ* ударитъ меня по ногѣ, ровно какъ въ яму оступился, глядь, а ноги нѣтъ.

— Неужели больно не было въ эту первую минуту?

— Ничего; только какъ горячимъ чѣмъ меня пхнули въ ногу.

— Ну, а потомъ?

— И потомъ ничего; только какъ кожу натягивать стали, такъ саднило какъ будто. Оно, первое дѣло, ваше благородіе, *не думать ничего*: какъ не думаешь, оно тебѣ и ничего. Все больше оттого, что думаетъ человѣкъ.

Въ это время къ намъ подходитъ женщина въ сѣренькомъ полосатомъ платьѣ и повязанная чернымъ платкомъ; она вмѣшивается въ нашъ разговоръ съ матросомъ и начинаетъ разсказывать про него, про его страданія, про отчаянное положеніе, въ которомъ онъ былъ четыре недѣли, про то, какъ бывши раненъ, остановилъ носилки, съ тѣмъ чтобы посмотрѣть на залпъ нашей батареи, какъ Великіе Князья говорили съ нимъ и пожаловали ему 25 рублей, и какъ онъ сказалъ имъ, что онъ опять хочетъ на бастіонъ, съ тѣмъ, чтобъ учить молодыхъ, ежели уже самъ работать не можетъ. Говоря все это однимъ духомъ, женщина эта смотритъ то на васъ, то на матроса, который, отвернувшись и какъ будто не слушая ея, щиплетъ у себя на подушкѣ корпію, и глаза ея блестятъ какимъ-то особеннымъ восторгомъ.

— Эта хозяйка моя, ваше благородіе!—замѣчаетъ вамъ матросъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто говоритъ: «ужъ вы ее извините. Извѣстно, бабье дѣло — глупыя слова говоритъ».

А смыслъ этихъ впечатлѣній, этихъ возвышающихъ душу зрѣлищъ тотъ, «что вы молча склоняетесь передъ этимъ молчаливымъ, безсознательнымъ величіемъ и твердостью духа, этою стыдливостью передъ собственнымъ достоинствомъ».

Молчаливый героизмъ безъ эффектныхъ фразъ, безъ всякаго тщеславнаго желанія выставить себя и сосредоточить на себѣ вниманіе, и вмѣстѣ съ этимъ милое, нѣжное добродушіе русскаго сол-

дата, умѣющаго быть деликатнымъ какъ любящая женщина, полностью изображены Толстымъ въ его Севастопольскихъ разсказахъ. Онъ вдохновляется прежде всего этимъ, и вы ясно видите, что онъ любитъ (а не просто описываетъ) то, чѣмъ вдохновляется. Толстой первый заглянулъ въ душу стараго дореформеннаго солдата и первый создалъ его типъ или, вѣрнѣе, цѣлую галлерею типовъ, теперь уже родныхъ и близкихъ каждому русскому писателю. Въ жизни, полной самоотреченія, невыносимой тяготы и лишеній почти нечеловѣческихъ, жизни безъ тѣни личнаго счастья, безъ семьи, безъ будущаго, съ вѣчно поднятымъ надъ головой обухомъ, съ неуходящимъ ни на шагъ призракомъ смерти—Толстой учуялъ что-то таинственное, прекрасное и чистое, какъ звѣзда на небѣ. И онъ склонился передъ этимъ, и вѣра въ народъ утвердилась въ его сердцѣ разъ на всю жизнь. Какъ ни мѣнялось впослѣдствіи міросозерцаніе Толстого, какъ ни глубоко погружался онъ въ безнадежное отрицаніе—эта вѣра спасала его и вызывала послѣ каждаго паденія къ новой жизни, новой работѣ.

Если въ кавказскихъ разсказахъ Толстого на первый планъ выступаетъ противорѣчіе между природой и человѣкомъ, миромъ одной и суетливостью и кровожадностью другого, то въ севастопольскихъ разсказахъ почва этихъ противорѣчій шире, разнообразнѣе и глубже.

Во время перемирія разыгрывается напр. такая сцена:

„Вотъ пѣхотный бойкій солдатъ, въ розовой рубахѣ и шинели въ накидку, въ сопровожденіи другихъ солдатъ, которые, руки за спину, съ веселыми, любопытными лицами стоятъ за нимъ, подошелъ къ французу и попросилъ у него огня закурить трубку. Французъ разжигаетъ, расковыриваетъ трубочку и высыпаетъ огня русскому.

— Табакъ *бунъ*,—говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc,—говоритъ французъ:—et chez vous autre tabac—russe? bon?

— Русъ—бунъ,—говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, причемъ присутствующіе покатываются со смѣху.—*Франсе, бунъ, бонжуръ, мусье!*—говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, сразу ужъ выпуская весь свой зарядъ знаній языка, и треплетъ француза по животу и смѣется. Французы тоже смѣются.

— Ils ne sont pas jolis, ces b... de Russes,—говорилъ одинъ зуавъ изъ толпы французовъ.

— De quoi ils rient donc?—говоритъ другой, черный, съ итальянскимъ выговоромъ, подходя къ нашимъ.

— Кафтанъ бунъ,—говоритъ бойкій солдатъ, разсматривая шитыя полы зуава, и опять смѣется.

— Ne sors pas de ta ligne, à vos places, sacré nom!—кричитъ французскій капралъ, и солдаты съ видимымъ неудовольствіемъ расходятся.“

Не странно ли будетъ видѣть потомъ, всего черезъ нѣсколько часовъ, этихъ добродушныхъ людей, такъ весело разговаривающихъ другъ съ другомъ, съ ожесточенными и освирѣпѣвшими лицами прокалывающихъ другъ друга штыками. Вражды между ними нѣтъ никакой; еслибы не странная стихійная сила, руководящая ими, они долго бы еще продолжали бесѣдовать и смѣяться, а потомъ вмѣстѣ и дружно принялись бы за работу. Но «бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія».

Дикая и страшная трагедія человѣческой жизни разыгрывается на поляхъ сраженій. Гдѣ и въ чемъ можно найти ей оправданіе, и вмѣстѣ съ Толстымъ невольно спрашиваешь себя: «неужели эти люди—христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія,—глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣна передъ Тѣмъ, Кто далъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждаго, вмѣстѣ со страхомъ смерти, любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?»...

Нѣтъ, не обнимутся. Цвѣтущая долина засыпается мертвыми тѣлами, опять свистятъ орудія смерти, прекрасное солнце спускается къ синему морю, синее море, колыхаясь, блеститъ на золотыхъ лучахъ солнца, а люди, какъ дикіе звѣри, бросаются другъ на друга и рвутъ другъ друга зубами...

Гете замѣтилъ какъ-то, что истинный художникъ всегда ребенокъ. Какъ ребенокъ, онъ наивенъ, удивляется тому, чему уже перестали удивляться мы, опытные люди, и задаетъ такіе вопросы, которые уже не существуютъ для насъ. Въ узкомъ ущельѣ Валерика великій и наивный ребенокъ Лермонтовъ, видя передъ собой окровавленные трупы такъ недавно еще веселыхъ и полныхъ жизни людей, спрашиваетъ: «зачѣмъ?»; подъ стѣнами Севастополя тотъ же вопросъ не даетъ ни минуты покоя другой великой наивной душѣ—душѣ Толстого. Онъ, какъ художникъ, не понимаетъ и не можетъ понять того, что какъ будто понимаемъ мы, что пожалуй самъ онъ понимаетъ, какъ офицеръ, какъ командиръ дивизіона, какъ защитникъ Севастополя, мечтающій о флигель-адъютантствѣ. Но худож-

никъ «наивенъ», его чуткое сердце не можетъ успокоиться на тѣхъ объясненіяхъ и отвѣтахъ, на которыхъ успокаивается обыденный смертный; цвѣтущая долина, заваленная мертвыми тѣлами, для него не просто поле сраженія, гдѣ побѣдили мы или французы, гдѣ было столько-то стычекъ, гдѣ столько-то убито, столько-то ранено; эта цвѣтущая долина для него что-то страшное, таинственное, преступное, вызывающее одинъ и тотъ же роковой вопросъ: «зачѣмъ?»

Во второмъ Севастопольскомъ разсказѣ («Севастополь въ маѣ») передъ нами развертывается и другое противорѣчіе, поразившее Толстого. Это противорѣчіе народнаго и интеллигентнаго духа. Молчаливый героизмъ народа и тщеславная суетливость интеллигента никогда еще до той поры такъ рѣзко не противопоставлялись другъ другу. Впослѣдствіи Толстой построилъ на немъ свою эпопею «Войны и Мира», но впервые оно было уже постигнуто имъ подъ стѣнами Севастополя. Интеллигентъ носится съ своимъ *я*, не можетъ ни на минуту отдѣлаться отъ заботъ о немъ. Это маленькое требовательное *я* суетится, безпокоится, страдаетъ и радуется, смотря по тому, хорошо ли ему или дурно, тепло ему или холодно.

Желаніе выставить себя съ самой выгодной стороны, выдвинуться въ первый рядъ—это тщеславное суетливое желаніе ни на минуту не исчезаетъ изъ интеллигентной души, и безконечныя интриги, разнузданная игра себялюбія—иногда совершенно невинная, дѣтская, иногда скверная—потому что корыстолюбивая, постоянно происходитъ на почвѣ молчаливаго народнаго героизма. Идти на бастіонъ значитъ идти почти на вѣрную смерть, и вотъ по дорогѣ туда культурный человѣкъ штабсъ-капитанъ Михайловъ думаетъ: «и каково будетъ удивленіе и радость Наташи, когда она вдругъ прочтетъ въ *Инвалидѣ* описаніе, какъ я первый влѣзъ на пушку и получилъ Георгія. Капитана я долженъ получить по старому представленію. Потомъ очень легко я въ этомъ же году могу получить маіора по линіи, потому что не мало перебито, да и еще, вѣрно, много перебьютъ нашего брата въ эту кампанію. А потомъ опять будетъ дѣло, и мнѣ, какъ извѣстному человѣку, поручатъ полкъ... подполковникъ... Анну на шею... полковникъ... и въ мечтахъ своихъ штабсъ-капитанъ Михайловъ добрался уже до генеральскаго чина... Тотъ же штабсъ-капитанъ Михайловъ на музыкѣ въ саду весь поглощенъ соображеніями о томъ, какъ и съ кѣмъ ему поздороваться, къ кому подойти, съ кѣмъ заговорить. Онъ избѣгаетъ компаніи своихъ товарищей армейцевъ, потому что одинъ изъ нихъ

въ верблюжьихъ штанахъ и безъ перчатокъ, а другой кричитъ ужасно громко на весь садъ,—но не рѣшается и подойти къ «аристократамъ»... «Что ежели, спрашиваетъ онъ себя, они вдругъ мнѣ не поклонятся, или поклонятся и будутъ продолжать говорить между собою, какъ будто меня нѣтъ, или вовсе уйдутъ отъ меня и я тамъ останусь одинъ?..»

Ребячество капитана Михайлова вызываетъ лишь улыбку, какъ вызываютъ улыбку и его ненужныя мысли. Но можно не только улыбаться, а и задуматься, видя поразительное и странное сочетаніе культурной ярмарки тщеславія и эгоизма съ молчаливымъ героизмомъ простого народа.

Въ культурномъ человѣкѣ слишкомъ сильно чувство личности; это-то и портитъ все дѣло. Лишь въ минуты нравственнаго прозрѣнія спрашиваетъ онъ себя: «что значатъ смерть и страданія такого ничтожнаго червяка, какъ я, въ сравненіи съ столькими смертями и страданіями»... Но видъ чистаго неба, блестящаго солнца, красиваго города опять приводитъ культурную душу въ обычное состояніе маленькихъ себялюбивыхъ заботъ, опасеній, мечтаній.... Быть лучше, сильнѣе, красивѣе другого—вотъ нервъ культурнаго бытія и въ этомъ же его главное противорѣчіе съ народнымъ духомъ.

Ярмарка тщеславія съ одной стороны, молчаливый героизмъ съ другой—ежеминутно были на глазахъ у графа Толстого подъ стѣнами Севастополя. Чему симпатизировать, что любить—онъ зналъ и ни минуты не колебался въ своемъ выборѣ. Но по самой жизни своей, по практическимъ цѣлямъ, онъ принадлежалъ еще ярмаркѣ тщеславія, и былъ глубоко огорченъ, когда убѣдился, что не получитъ флигель-адъютантскихъ эксельбантовъ.

V.

Въ Петербургѣ.

Въ Петербургъ гр. Толстой пріѣхалъ въ концѣ 55-го года. Передъ 27-лѣтнимъ офицеромъ, богатымъ и титулованнымъ, къ тому севастопольскимъ героемъ, разумѣется, были раскрыты всѣ двери «лучшихъ», какъ это принято говорить, домовъ. Его принимали вездѣ, вездѣ ласкали и холили, всячески за нимъ ухаживали... Чего казалось бы лучше? Впереди блестящая карьера, полная возможность

устроить блестящую партію съ какой-нибудь милой и титулованной Кити Щербацкой, а между тѣмъ Толстой рѣдко чувствовалъ себя хорошо и большую часть времени находился въ какомъ-то безпокойномъ и тревожномъ настроеніи духа. Литературная извѣстность и ореолъ севастопольскаго героя не могли, разумѣется, не льстить молодому тщеславію, но успокоиться и почить на пріобрѣтенныхъ лаврахъ невозможно вдумчивому человѣку. Тѣмъ болѣе, очевидно, что Толстымъ по наслѣдству получена наклонность разсматривать все съ мрачной точки зрѣнія,—результатъ духовнаго переутомленія ряда поколѣній. Исторія его развитія и жизни была-бы совсѣмъ другая, еслибы онъ могъ повторить гордыя слова, сказанныя когда-то Прудономъ: «четырнадцать моихъ прадѣдовъ были земледѣльцами; укажите мнѣ болѣе благородное происхожденіе!»

На двухъ фотографическихъ снимкахъ, сохранившихся отъ петербургскаго періода, гр. Толстой является исключительно въ литературномъ обществѣ. На первомъ изъ этихъ снимковъ онъ изображенъ вмѣстѣ съ Григоровичемъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ, Дружининымъ и Островскимъ; на второмъ—съ Некрасовымъ, Саллогубомъ, Панаевымъ, опять Тургеневымъ и Григоровичемъ. Передъ нами стало-быть вся редакція «Современника» и всѣ свѣтила русской литературы 50-хъ годовъ. Тургеневъ былъ въ то время излюбленнымъ и славнѣйшимъ писателемъ, Некрасовъ пропѣлъ уже многія изъ своихъ лучшихъ пѣсенъ, Григоровича знали всѣ какъ автора «Антона Горемыки», а Дружининъ считался первымъ критикомъ, пока на смѣну ему не пришелъ сначала Чернышевскій, а потомъ Добролюбовъ.

Среди аристократовъ литературы гр. Толстой былъ своимъ. Его «Севастопольскіе разсказы» были по заслугамъ оцѣнены публикой, а «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» хотя и не пользовались широкой популярностью, заставили видѣть въ авторѣ большой и серьезный талантъ.

Но ни съ кѣмъ изъ писателей Толстой близко не сошелся. Въ его натурѣ, повидимому, мало данныхъ для дружбы, или эти данныя не могутъ уравновѣсить слишкомъ большой чуткости и проницательности. Истинно друженъ онъ былъ всего одинъ разъ въ жизни, съ старшимъ братомъ своимъ Николаемъ Николаевичемъ. Съ Тургеневымъ Толстой жилъ даже на одной квартирѣ, но особаго расположенія ни съ той, ни съ другой стороны не было: они не понимали другъ друга, спорили до хрипоты и скоро разошлись по разнымъ дорогамъ.

Изъ этого Петербургскаго періода Фетъ сохранилъ такое воспоминаніе. «Я,—разсказываетъ онъ,—только разъ видѣлъ Льва Николаевича Толстого у Некрасова вечеромъ, и съ первой минуты замѣтилъ въ молодомъ Толстомъ невольную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій.

«Я не могу признавать,—говорилъ напр. Левъ Николаевичъ Тургеневу,—чтобы высказанное вами было вашимъ убѣжденіемъ. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: «пока я живъ, никто сюда не войдетъ». Вотъ это убѣжденіе! А вы другъ отъ друга стараетесь скрывать сущность вашихъ мыслей и называете это убѣжденіемъ».—«Зачѣмъ же вы къ намъ ходите?», задыхаясь, спрашивалъ Тургеневъ.—«Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! И праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденія».

О той же оппозиціи Толстого всему общепризнанному, о рѣзкости его мнѣній и т. д. говоритъ и Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», и, какъ кажется, будетъ нетрудно объяснить причины и источникъ такого настроенія.

Толстой только вернулся изъ-подъ Севастополя; въ его ушахъ все еще гремѣли орудія, раздавались стоны и хрипъ раненыхъ; тамъ же, на поляхъ битвы, онъ первый разъ оцѣнилъ простого русскаго человѣка, его безхитростную душу, его молчаливый героизмъ. Въ Петербургѣ не только не было ничего похожаго на только-что видѣнное и испытанное, а было какъ разъ противоположное, особенно въ томъ кругу знатныхъ баръ и богатыхъ прославленныхъ литераторовъ, въ которомъ вращался Толстой. Жизнь онъ велъ «легкую», веселую, праздную и видѣлъ вокругъ все такую же жизнь, которая считалась приличной, комильфотной и вполнѣ удовлетворительной въ нравственномъ отношеніи. Не представлялась ли эта блестящая обстановка гостиныхъ, этотъ постоянный флиртъ между праздными мужчинами и праздными женщинами, эти кутежи въ загородныхъ ресторанахъ, карточная игра, эти пустопорожніе разговоры объ убѣжденіяхъ чѣмъ-то обиднымъ послѣ серьезныхъ и страшныхъ севастопольскихъ впечатлѣній? Отказаться отъ этой жизни Толстой въ то время не могъ, но онъ чувствовалъ и зналъ, что это не «та», не настоящая жизнь, что въ ея легкомысліи и праздности есть и безнравственное, и даже прямо преступное. Толстой серьезенъ, порою серьезенъ до мрачности, его умъ вдумчивъ и настойчивъ, и войти въ петербургскую колею, увлечься времяпрепровожденіемъ богатаго и знатнаго литератора онъ не могъ уже и тогда. Въ самомъ

литературномъ кружкѣ, къ которому онъ принадлежалъ, многое должно было раздражать его, и особенно Тургеневъ съ его европеизмомъ, англоманствомъ и изящно барскими взглядами на литературу, искусство, прогрессъ, исторію. Противъ грубости Толстой никогда ничего не имѣлъ, но онъ всегда морщился отъ всякой неискренности, отъ всякой заученной красивой фразы, а вѣдь этихъ фразъ въ литературныхъ и барскихъ гостиныхъ ему приходилось слушать безъ числа. И онъ ссорился, спорилъ до хрипоты, и все это совсѣмъ не было стояніемъ за правду, а просто взрывами раздраженія на легкую праздную жизнь, на пустопорожніе разговоры, на самого себя.

Вѣдь мы знаемъ, чѣмъ въ концѣ концовъ завершились его исканія правды и какимъ путемъ достигъ онъ если и не полнаго счастья, то по крайней мѣрѣ спокойствія духа. Для этого Толстому понадобилось не только сердцемъ своимъ, но и разумомъ, но и всей жизнью, ея обстановкой и обиходомъ, стать органической частицей простой народной массы. Въ 27 лѣтъ сдѣлать этого было нельзя, особенно Толстому, котораго условія его жизни и воспитанія, традиціи рода, родные и знакомые тянули совсѣмъ въ другую сторону. Прекрасно сказано по этому поводу у Н. К. Михайловскаго:

«Легко было Прудону вѣровать въ народъ и требовать отъ другихъ такой же вѣры, когда онъ самъ вышелъ изъ народа: онъ вѣровалъ въ себя. Такого непосредственнаго единенія между Толстымъ и народомъ нѣтъ. Легко было Прудону смѣло констатировать оборотную сторону цивилизаціи, когда эта оборотная сторона непосредственно давила его и близкихъ его. Такого давленія гр. Толстой не испытываетъ. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ лордовъ, бароновъ, банкировъ и профессоровъ». Прудону было легко говорить это, когда отецъ его былъ бочаромъ, мать кухаркой, а самъ онъ наборщикомъ; когда онъ имѣлъ право сказать одному легитимисту: «у меня четырнадцать прадѣдовъ крестьянъ, назовите хоть одну фамилію, которая насчитывала бы столько благородныхъ предковъ». Но гр. Толстой находится скорѣе въ положеніи того легитимиста, который получилъ этотъ отпоръ. Оставьте въ сторонѣ вопросъ о томъ, вѣрны или не вѣрны тѣ выводы, къ которымъ пришелъ Прудонъ, и тѣ, къ которымъ пришелъ гр. Толстой. Положимъ, что и тѣ, и другіе такъ же далеки отъ истины, какъ пещерные люди отъ гр. Толстого. Обратите вниманіе только на слѣдующее обстоятельство: вся обстановка, всѣ условія жизни, начиная съ пеленокъ, гнали Прудона къ тѣмъ

выводамъ, которыя онъ считалъ истиной; всѣ условія жизни гр. Толстого, напротивъ, гнали и гонятъ его въ сторону отъ того, что онъ считаетъ истиной. И если онъ все-таки пришелъ къ ней, то какъ бы онъ себѣ ни противорѣчилъ, вы должны признать, что это мыслитель честный и сильный, которому довѣриться можно, котораго уважать должно».

Самые литературные кружки первой половины пятидесятыхъ годовъ не могли не вызвать въ Толстомъ сначала недовѣрія, а потомъ и враждебности. Это было какое-то странное, переходное время отъ величайшаго гнета конца николаевской эпохи къ значительной свободѣ новаго царствованія. Тяжелая атмосфера недавно пережитаго еще не замѣнилась новой, а лишь медленно и робко оттѣснялась ею. Пока длилась осада Севастополя и война, старые принципы и старыя правила безпрепятственно царили въ жизни, и всѣ подчинялись имъ. Писатели, жившіе въ то время, надо отдать имъ полную справедливость — умѣли недурно приспособиться къ обстановкѣ и чувствовали себя и счастливыми, и довольными. Бѣлинскій умеръ въ 48 году, и его мѣсто трибуна не было занято никѣмъ. Если не о немъ, то о его проповѣди забыли даже въ кружкѣ близкихъ ему лицъ и, какъ дѣти, вырвавшіяся изъ-подъ строгаго надзора, предались легкомыслію, самодовольству, чистой красотѣ. Нѣсколько одностороннее, но въ сущности глубоко вѣрное описаніе литературнаго легкомыслія того времени далъ намъ самъ Толстой:

«Мнѣ,—разсказываетъ гр. Толстой,—было 26 лѣтъ, когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли какъ своего, льстили мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы, художники, поэты. Наше призваніе учить людей, не зная чему: художникъ-де и поэтъ учатъ безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество, у меня была слава: значитъ то, чему я училъ, было очень хорошо. Теорія эта о развитіи жизни и значеніи поэзіи была вѣра, и я былъ однимъ изъ жрецовъ ея. Быть жрецомъ ея было

чень выгодно и пріятно. И я довольно долго жилъ въ этой вѣрѣ, не сомнѣваясь въ ея истинности. Но на второй и особенно на третій годъ такой жизни я сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою. Одни изъ нихъ говорили: «мы—самые хорошіе и полезные учители; мы учимъ тому, что нужно, а другіе учатъ неправильно». А другіе говорили: «нѣтъ, мы настоящіе, а вы учите неправильно». И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга.

«Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ. Я понялъ, что въ своемъ самообольщеніи мы не замѣчали, что ничего не знаемъ, что мы не знаемъ самаго главнаго, что на самый простой и, вмѣстѣ, единственно важный вопросъ жизни: что хорошо, что дурно — мы не умѣемъ найти накакого точнаго отвѣта. И вотъ мы, не зная этого единственно важнаго въ жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая другъ друга, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга, съ тѣмъ, чтобы и меня похвалили, иногда же раздражаясь другъ противъ друга—совершенно какъ въ сумасшедшемъ домѣ. И я, смутно чувствуя ложь эту, не зная, гдѣ истина, страдалъ, но не имѣлъ духа отречься отъ тщеславнаго сана художника, поэта, учителя,—и гордость моя, и сумасшедшая увѣренность, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему, все болѣе и болѣе болѣзненно развивались. Такъ я жилъ, предаваясь этому безумію, еще шесть лѣтъ».

Но и предаваясь безумію, Толстой въ святая святыхъ души своей не могъ мириться съ нимъ. Онъ спорилъ и ссорился, отрицалъ Шекспира, не хотѣлъ стоять на колѣнахъ передъ Пушкинымъ — что тогда требовалось литературнымъ уставомъ, — смѣялся надъ нѣсколько чувствительнымъ народничествомъ, процвѣтавшимъ съ легкой руки Григоровича, и сердился на всѣхъ и вся, и на изящныя манеры, и на изящный языкъ, и на изящныя теоріи чистой красоты.

Недовольный Петербургомъ, онъ скоро уѣхалъ изъ него. Нѣсколько странно объясняетъ причины этого недовольства г. Берсъ, говоря: «Петербургъ никогда Льву Николаевичу не нравился: онъ не могъ ничѣмъ выдвигаться въ высшемъ кругу Петербурга, служебной карьеры онъ не домогался, большимъ состояніемъ не владѣлъ, громкой славы писателя тогда еще не составилось у него».

Считать всѣ эти мелочи главной причиной недовольства я не могу, но что и эти мелочи могли играть нѣкоторую роль, я это охотно

допускаю съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства. Но въ святая святыхъ души, не исчезая, таилось преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа и его страданіями. Оно-то и навело Толстого на такія мысли.

«Счастье вотъ что... счастье, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе»... Но это еще не правило жизни, это настроеніе.

VI.

Въ Ясной Полянѣ и заграницей.

Полагаю, никто не станетъ требовать отъ меня, чтобы я представилъ всю жизнь графа Л. Н. Толстого вытянутой въ одну линію, а самого Л. Н. каждую минуту сокрушающимся о грѣхахъ своихъ, о противорѣчіяхъ цивилизаціи и ищущимъ опять-таки каждую минуту правды и истины. Жизнь гр. Толстого, какъ и всякаго человѣка, исполнена противорѣчій. Великое сегодня — завтра представлялось ему ненужнымъ и пустымъ, что съ точки зрѣнія нервной молодости совершенно логично. Всѣхъ уклоненій отъ господствующаго настроенія, искавшаго близости съ народомъ, я перечислять не буду. Но на нѣкоторыхъ остановиться необходимо. Главнымъ изъ этихъ послѣднихъ было отмѣченное еще нами при описаніи юности стремленіе къ личному совершенствованію. Стремленіе это принимало самую разнообразную форму, вплоть до гимнастическихъ упражненій на трапеціи и съ тяжелыми гирями, и уже самъ гр. Толстой виноватъ, что придалъ этимъ невиннымъ развлеченіямъ мрачный характеръ, разсказывая о нихъ впослѣдствіи въ «Исповѣди».

«Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вѣра моя—то, что кромѣ животныхъ инстинктовъ двигало моей жизнью,—единственная вѣра моя въ то время была вѣра въ совершенствованіе, въ прогрессъ. Но въ чемъ она была, какая была цѣль ихъ, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать себя умственно и учился

всему, чему могъ и на что наталкивала меня жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составилъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенствовалъ себя физически, всякими упражненіями изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего этого было, разумѣется, нравственное совершенствованіе, но вскорѣ оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т. е. желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И скоро это желаніе быть лучше передъ другими подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ... *Гадко* вспомнить даже объ этомъ. Но, говоря совсѣмъ безпристрастно, я не могу обвинять въ этомъ только себя. Напротивъ, у меня и тогда было горячее желаніе добра. Но я былъ молодъ, у меня были страсти, и я оказывался совершенно одинокъ каждый разъ, когда хотѣлъ уйти отъ страстей и идти къ добру... Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть — всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе»...

Толстому *гадко* было впослѣдствіи вспоминать о своемъ стремленіи къ совершенствованію, но на самомъ дѣлѣ не все же было гадко въ этомъ стремленіи, а напротивъ многое хорошо, симпатично и даже, если хотите, комично. Толстой увлекался гимнастикой, и вотъ по утрамъ въ Ясной Полянѣ, когда къ нему являлся бурмистръ за приказаніями, то происходила такая напр. сцена: «баринъ въ трико виситъ внизъ головой, на трапеціи раскачивается, выкидываетъ различные пируеты и въ то же время бесѣдуетъ о запашкахъ и умолотѣ...»

—Барское дѣло!..—подумывалъ вѣроятно бурмистръ, почесывая у себя въ затылкѣ и почтительно слѣдя за бариномъ, чудесно выдѣлывавшимъ козла.

Смѣшно-то это смѣшно, но что же тутъ гадкаго?..

Въ Ясную Поляну Толстой вернулся изъ Петербурга въ 56 году, нѣсколько утомленный столичною жизнью, ея пустопорожнимъ и не всегда чистымъ времяпрепровожденіемъ, внимательно присматривался къ сельскому быту, усердно занимался хозяйствомъ, увлекался даже полевыми работами...

«Понравилось ему — съ добродушной ироніей пишетъ въ это время его братъ Николай—какъ работникъ Юфанъ растопыриваетъ

руки при пахотѣ, и вотъ Юфанъ для него эмблема сельской силы, въ родѣ Микулы Селяниновича. Онъ самъ, широко разставляя локти, берется за соху и юфанствуетъ». Литературная работа на лонѣ природы идетъ успѣшно. За это время были написаны «Юность», «Встрѣча въ отрядѣ», «Метель», «Записки маркера», «Два гусара».

Но и на этотъ разъ Ясная Поляна не могла полностью удовлетворить его, и онъ отправился за-границу.

«Въ это время—писалъ онъ впослѣдствіи, держась своей обычной мрачной точки зрѣнія на свое прошлое—я поѣхалъ за-границу. Жизнь въ Европѣ и сближеніе мое съ передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше въ той вѣрѣ совершенствованія вообще, потому что ту же самую вѣру я нашелъ и у нихъ. Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ прогрессъ. Только изрѣдка, не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности же я жилъ, продолжая исповѣдывать вѣру въ прогрессъ... «Все развивается и я тоже развиваюсь, а зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми—это видно будетъ». Такъ бы я долженъ былъ формулировать тогда свою вѣру»...

Толстой былъ за-границей всего два раза (1857 и 59 г.). Несмотря на его собственную характеристику этимъ поѣздкамъ, приходится съ нимъ не согласиться, а сказать, что за-граница принесла очень много пользы, если и не самому графу, то по крайней мѣрѣ дѣлу русскаго народнаго образованія, находившемуся еще тогда въ зачаточномъ состояніи.

О первой поѣздкѣ Толстого В. П. Боткинъ писалъ между прочимъ Дружинину: «письмо Толстого ко мнѣ занимаетъ всего только одну страничку, но исполнено свѣжести и бодрости. Германія очень заинтересовала его, и онъ хочетъ потомъ поближе узнать ее. Черезъ мѣсяцъ онъ ѣдетъ въ Римъ». Толстой довольно долгое время пробылъ въ Парижѣ, гдѣ встрѣтился съ Тургеневымъ, но не совсѣмъ удачно: «Толстой—продолжаетъ тамъ же В. П. Боткинъ—пишетъ о свиданіи своемъ съ Тургеневымъ: оба они опять блуждаютъ въ какомъ-то мракѣ, грустятъ, жалуются на жизнь, ничего не дѣлаютъ и тяготятся, какъ кажется, своими респективными отношеніями». Объ этихъ же респективныхъ отношеніяхъ говоритъ и Тургеневъ

въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ 1857 года. «Съ Толстымъ я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишкомъ мы врозь глядимъ»...

Замѣтимъ, что по многимъ и многимъ причинамъ первая поѣздка должна была оставить по себѣ тяжелое впечатлѣніе въ душѣ Толстого. Въ Парижѣ онъ видѣлъ смертную казнь, «обличавшую ему всю шаткость суевѣрій прогресса», и въ то же время умеръ его старшій любимый братъ, Николай. Это была свѣтлая, незамѣнимая личность. «Талантливый собесѣдникъ и разсказчикъ,—говоритъ Тургеневъ, — онъ жилъ всегда или у себя въ деревнѣ, или въ маленькомъ, чрезвычайно простомъ домикѣ въ Москвѣ, въ самой невозможной квартирѣ, чуть ли не въ лачугѣ гдѣ-нибудь въ отдаленномъ кварталѣ, охотно дѣлясь всѣмъ съ послѣднимъ бѣднякомъ».... Здѣсь-то смерть и взглянула впервые на Толстого своими страшными глазами. Правда, вокругъ него умирали и раньше, умирали на Кавказѣ и подъ Севастополемъ, но все это были чужіе люди, съ жизнью которыхъ не чувствовалось неразрывной связи.

«И вотъ этотъ умный, добрый, серьезный человѣкъ,—вспоминалъ впослѣдствіи Толстой о своемъ братѣ, — еще молодымъ, заболѣлъ чахоткой, страдалъ болѣе года и мучительно умеръ, не понимая, зачѣмъ онъ жилъ, еще меньше понимая, зачѣмъ онъ умеръ...

«Ничто въ жизни не дѣлало на меня такого впечатлѣнія. Правду онъ говаривалъ, что хуже смерти ничего нѣтъ. А какъ хорошенько подумать, что она все-таки конецъ всего, то и хуже жизни ничего нѣтъ.... Для чего хлопотать, стараться, коли отъ того, что былъ Николай Николаевичъ Толстой, ничего не осталось!...

«За нѣсколько минутъ передъ смертью, онъ задремалъ, и вдругъ очнулся и съ ужасомъ прошепталъ: «да что же это такое?» — Это онъ ее увидѣлъ, это поглощеніе самого себя въ ничто. А ужъ ежели онъ ничего не нашелъ, за что ухватиться, что же я-то найду? Еще меньше. И ужъ вѣрно ни я, и ничто такъ не будетъ до послѣдней минуты бороться съ нею, какъ онъ».

Этотъ моментъ (смерть брата) я считаю важнѣйшимъ опредѣляющимъ моментомъ для цѣлаго періода жизни Толстого. Послѣ этой смерти онъ поторопился вернуться въ Россію и цѣлый годъ провелъ въ тяжеломъ настроеніи духа. Онъ написалъ за это время «Люцернъ» и «Альбертъ», и чѣмъ-то мрачнымъ вѣетъ отъ обоихъ этихъ разсказовъ и ихъ безконечно грустныхъ сюжетовъ... Толстого

стала мучить мысль о смерти, тѣмъ болѣе, что въ своей груди онъ чувствовалъ присутствіе той же болѣзни, которая свела въ могилу его брата.

Онъ уже часто сталъ разсуждать о жизни съ точки зрѣнія смерти и значитъ, въ минуту наиболѣе сильно овладѣвавшихъ имъ думъ, переставалъ жить. «Нельзя уговорить камень,—пишетъ онъ въ 1860 г.,—чтобъ онъ падалъ кверху, а не книзу, куда его тянетъ. Нельзя смѣяться шуткѣ, которая наскучила. Нельзя ѣсть, когда не хочется. *Къ чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со своею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя*». «Я беру жизнь,—продолжаетъ онъ,—какъ она есть. Какъ только дойдетъ человѣкъ до высшей степени развитія, такъ онъ увидитъ ясно, что все дичь, обманъ, и что правда, которую все-таки онъ любитъ лучше всего, что эта правда ужасна, что какъ увидишь ее хорошенько, ясно, такъ очнешься и съ ужасомъ скажешь, какъ братъ:» да что-жъ это такое?» Но, разумѣется, покуда есть желаніе знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня изъ моральнаго міра, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду дѣлать, только не въ формѣ вашего искусства. Искусство есть ложь, а я ужъ не могу любить прекрасную ложь»...

Къ чему *все*, когда завтра начнутся муки смерти, «со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя»? Новый страшный и огромный вопросъ прибавился къ вопросамъ, прежде бывшимъ, и если не сейчасъ, то позже, занялъ первенствующее положеніе. Съ этой поры тѣнь смерти начинаетъ падать на всѣ лучшія страницы, вышедшія изъ-подъ пера Толстого, а картины смерти то и дѣло вдохновляютъ его. Смерть—муза философіи, и эта формула какъ нельзя лучше оправдалась въ жизни Толстого. Довольно легкомыслія, веселости, суетливыхъ заботъ о своемъ *я*,—довольно игры, тщеславія и гордости,—довольно смѣха и шутокъ, вѣдь есть что-то страшное, что послѣ жизни ожидаетъ каждаго изъ насъ, и это страшное, это неотразимое — смерть. Какъ же примирить съ нею мою жажду вѣчности, мою любовь къ себѣ, мое настойчивое требованіе личнаго счастья?

VII.

Вторая поѣздка заграницу и педагогическія занятія.

Между первой и второй заграничной поѣздкой Толстого прошло около года. Этотъ годъ онъ провелъ въ деревнѣ и между прочимъ занимался съ крестьянскими дѣтьми. Строй будущей яснополянской школы несомнѣнно вырисовывался уже передъ нимъ въ это время, но, прежде чѣмъ устроить школу, онъ хотѣлъ серьезно подготовиться къ этому дѣлу, вся огромная необходимость котораго тѣмъ яснѣе выступала на первый планъ, чѣмъ оживленнѣе шли приготовленія къ манифесту 19-го февраля. Здѣсь я желаю напомнить читателю нѣсколько строкъ изъ статьи «Яснополянская школа въ декабрѣ и ноябрѣ», — строкъ, гдѣ изложены драгоцѣнныя мысли, хотя и самъ Толстой не разъ измѣнялъ имъ и не разъ имъ противорѣчилъ.

«Я вижу — говоритъ Толстой — людей честныхъ, добрыхъ, членовъ благотворительныхъ обществъ, которые готовы дать и даютъ одну сотую своего состоянія бѣднымъ, которые учредили и учреждаютъ школы и которые, прочтя это, скажутъ: не хорошо!—и покачаютъ головой. Зачѣмъ усиленно развивать крестьянскихъ дѣтей? Зачѣмъ давать имъ чувства и понятія, которыя враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ? Зачѣмъ выводить ихъ изъ своего быта? Я не говорю уже о тѣхъ, выдающихъ себя головой, которые скажутъ: хорошо будетъ устройство государства, когда всѣ захотятъ быть мыслителями и художниками, а работать никто не станетъ! Эти прямо говорятъ, что они не любятъ работать, и потому нужно, чтобы были люди, не то, что неспособные для другой дѣятельности, а рабы, которые работали бы за другихъ. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить ихъ изъ ихъ среды и т. д.—кто это знаетъ? И кто можетъ вывести ихъ изъ своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дѣло. Ѳедька не тяготится своимъ оборваннымъ кафтанишкомъ, но нравственные вопросы и сомнѣнія мучатъ Ѳедьку, а вы хотите дать ему три рубля, катихизисъ и исторійку о томъ, какъ работа и смиреніе, которыхъ вы сами терпѣть не можете, одни полезны для человѣка. Три рубля ему не нужны, онъ ихъ найдетъ, когда они ему понадобятся, а работать научится безъ васъ такъ же, какъ дышать; ему нужно то, до чего довела васъ ваша жизнь, вашихъ десять незаби-

тыхъ работой поколѣній. Вы имѣли досугъ искать, думать, страдать,—дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь отъ него таинственной мантіей, зарываете въ землю талантъ, данный вамъ исторіей. Не бойтесь, человѣку ничто человѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманетъ васъ. Повѣрьте его природѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что заповѣдала вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ».

Мы еще вернемся къ этому, пока же нѣсколько словъ о второй заграничной поѣздкѣ Толстого. Онъ отправился туда съ цѣлью главнымъ образомъ изучать томашнія школы и существующія въ нихъ системы преподаванія, но при этомъ онъ знакомился и съ постановкой благотворительнаго дѣла, а также почему-то съ устройствомъ тюремъ.

Прежде всего онъ отправился въ Берлинъ, слушалъ лекціи Дройзена и Дюбуа-Реймона, посѣщалъ музеи и особенное вниманіе обратилъ на тюрьму въ Моабитѣ, гдѣ введено было одиночное заключеніе. Дальше въ своихъ поѣздкахъ по Германіи онъ посѣщаетъ собранія ремесленныхъ союзовъ, устроенныхъ Шульце-Деличемъ, знакомится съ педагогической знаменитостью Дистервегомъ, но разочаровывается въ немъ за «сухость и черствость». Въ Вартбургѣ онъ заноситъ въ свою записную книгу слова: «Лютеръ великъ»,—отсюда ѣдетъ въ Дрезденъ, всюду по дорогѣ осматривая школы, и навѣщаетъ между прочимъ знаменитаго романиста Ауэрбаха, который былъ въ то время его любимцемъ, за то вѣроятно, что старался писать книги для народа.

Войдя къ Ауэрбаху, Толстой отрекомендовался такъ: «Я Евгеній Бауманъ *) не по имени, а по характеру. Ваши книги заставили меня серьезно задуматься надъ многимъ и вообще глубоко и благотворно повліяли на меня». Вспоминая объ этомъ эпизодѣ, Ауэрбахъ говорилъ Скайлеру, что онъ ужасно испугался, когда какой-то странно глядѣвшій господинъ сказалъ ему, что онъ—Евгеній Бауманъ.

«Я боялся, — прибавилъ Ауэрбахъ, — что онъ будетъ грозить мнѣ за пасквиль или диффамацію».

Изъ Дрездена онъ отправляется въ Киссингенъ, изучаетъ исто-

*) Герой одного изъ романовъ Ауэрбаха, имѣющій нѣкоторое отдаленное сходство съ Левинымъ.

рію педагогіи, сочиненія Бэкона, Риля, знакомится съ Фребелемъ и его сочиненіями, ѣдетъ въ Италію, Швейцарію, Марсель, Парижъ, Лондонъ, Брюссель, гдѣ близко сходится съ Прудономъ и Лелевелемъ, а въ Веймарѣ—съ Листомъ. Нужно замѣтить, что Левъ Николаевичъ серьезный знатокъ и любитель музыки, и ежедневно проводилъ нѣсколько часовъ за роялемъ. Въ Веймарѣ онъ посѣщаетъ дѣтскіе сады и черезъ Іену возвращается обратно въ Россію. За это время написаны имъ: «Три смерти», «Семейное счастье» и «Поликушка».

Вернувшись въ 1861 году въ Ясную Поляну, Левъ Николаевичъ занялъ мѣсто посредника и всецѣло отдался какъ новой своей обязанности, такъ и школамъ. Въ это же время онъ началъ издавать знаменитый свой педагогическій журналъ «Ясная Поляна», въ которомъ сообщалъ свѣдѣнія о методѣ, порядкѣ и ходѣ преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, этомъ необычайномъ явленіи нетолько у насъ въ Россіи, но и въ Европѣ. Это была первая вполнѣ свободная школа. Ученики приходили и уходили, когда хотѣли, дѣлали, что имъ угодно, учились только тѣмъ предметамъ и въ томъ видѣ, въ какомъ они имъ нравились, безъ всякаго принужденія, безъ малѣйшей дисциплины, кромѣ той, которую они вводили сами. Разсаживались не по стрункѣ за партами, а размѣщались, гдѣ кому было удобнѣе: одни лежали на животѣ, другіе разваливались на креслѣ, третьи скучивались гдѣ-нибудь въ уголкѣ или у окошка. Никакихъ принужденій, никакихъ приказаній не допускалось. Задача учителей заключалась въ томъ, чтобы интересомъ самаго преподаванія умѣть завладѣть вниманіемъ учениковъ и заставить ихъ водворить порядокъ. И вотъ въ этой свободной республикѣ преподаваніе шло крайне успѣшно, и ученики научились любить школу и ученье, благодаря тому, что всѣ учителя проникнуты были истиной, не разъ высказываемой Львомъ Николаевичемъ: «всякое принужденіе вредно и указываетъ на недостатокъ самаго метода преподаванія.—Чѣмъ съ меньшимъ принужденіемъ учатся дѣти, тѣмъ методъ лучше; чѣмъ съ большимъ, тѣмъ хуже».—Учителя, и во главѣ ихъ Левъ Николаевичъ, старались выработать самый лучшій методъ при наибольшей свободѣ учениковъ.

Такова была эта школа, вызывающая удивленіе и теперь въ педагогахъ, напр. французскихъ, которые рѣшительно отказываются понять, какъ при такой анархіи водворялся свободный порядокъ. Не отрицая факта успѣшности преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, они стараются объяснить это громадной разницей между

французскими городскими дѣтьми и русскими деревенскими ребятами, тогда какъ главная причина здѣсь кроется въ томъ, что громадное большинство учителей, какъ французскихъ, такъ и европейскихъ вообще, а нашихъ русскихъ въ частности, имѣютъ въ виду свое удобство, а не удобство учениковъ, и не придерживаются основного правила педагогической дѣятельности Льва Николаевича. Вотъ это основное правило: «учитель никогда не долженъ позволять себѣ думать, что въ неуспѣхѣ виноваты ученики, а твердо знать, что въ неуспѣхѣ виноватъ только онъ, потому что чѣмъ хуже самъ учитель знаетъ предметъ, которому онъ учитъ, тѣмъ ему нужнѣе строгость и принужденіе; напротивъ, чѣмъ больше учитель знаетъ и любитъ предметъ, тѣмъ естественнѣе и свободнѣе его преподаваніе».

Свободная его школа и издаваемый при ней журналъ «Ясная Поляна» породили недоразумѣніе въ правящихъ сферахъ, выразившееся въ слѣдующей интересной перепискѣ между министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія; министръ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ министру Народнаго Просвѣщенія 3-го октября 1862 года:

«Внимательное чтеніе педагогическаго журнала «Ясная Поляна», издаваемаго графомъ Толстымъ, приводитъ къ убѣжденію, что этотъ журналъ, проповѣдующій совершенно новые пріемы преподаванія и основныя начала народныхъ школъ, нерѣдко распространяетъ такія идеи, которыя, независимо отъ ихъ неправильности, по самому направленію своему оказываются вредными. Не входя въ подробный разборъ доктрины этого журнала и не указывая на отдѣльныя статьи и выраженія, что впрочемъ не представляло бы затрудненій, я считаю нужнымъ обратить вниманіе Вашего Превосходительства на общее направленіе и духъ этого журнала, нерѣдко низвергающіе основныя правила религіи и нравственности. Продолженіе журнала въ томъ же духѣ, по моему мнѣнію, должно быть признано тѣмъ болѣе вреднымъ, что издатель, обладая замѣчательнымъ и, можно сказать, увлекательнымъ литературнымъ дарованіемъ, не можетъ быть заподозрѣнъ ни въ злоумышленности, ни въ недобросовѣстности своихъ убѣжденій. Зло заключается именно въ ложности и, такъ сказать, въ эксцентричности этихъ убѣжденій, которыя, будучи изложены съ особеннымъ краснорѣчіемъ, могутъ увлечь на этотъ путь неопытныхъ педагоговъ и сообщить неправильное направленіе дѣлу народнаго образованія. Имѣю честь сообщить о семъ вамъ, Милостивый Государь, въ томъ предположеніи, что не изволите ли

Вы признать полезнымъ обратить особое вниманіе цензора на это изданіе».

Получивъ это отношеніе, министръ Народнаго Просвѣщенія поручилъ разсмотрѣть всѣ вышедшія книги журнала «Ясная Поляна» и сообщилъ министру Внутреннихъ Дѣлъ отъ 24 октября того же года, что какъ по собственному наблюденію министерства, такъ и по содержанію представленнаго ему, министру, отчета о «Ясной Полянѣ», въ направленіи помянутаго журнала нѣтъ ничего вреднаго и противнаго религіи, но встрѣчаются крайности педагогическихъ воззрѣній, которыя подлежатъ критикѣ въ ученыхъ педагогическихъ журналахъ, а никакъ не запрещенію со стороны цензуры.

«Вообще, писалъ далѣе министръ Народнаго Просвѣщенія, я долженъ сказать, что дѣятельность графа Толстого по педагогической части заслуживаетъ полнаго уваженія, и Министерство Народнаго Просвѣщенія обязано помогать ему и оказывать содѣйствіе, хотя не можетъ раздѣлить всѣхъ его мыслей, отъ которыхъ, послѣ многосторонняго обсужденія, онъ и самъ, вѣроятно, откажется».

Яснополянская школа просуществовала около трехъ лѣтъ и умерла естественной смертью, не столько отъ недостатка интереса со стороны Толстого, какъ отъ того, что каждый ребенокъ въ деревнѣ съ 150 жителями выучился всему, что онъ считалъ для себя нужнымъ, а новыхъ учениковъ не набиралось довольно, чтобы стоило содержать школу. Журналъ «Ясная Поляна» тоже прекратился.

«Вопросъ о томъ, въ чемъ состоитъ критеріумъ того, чему и какъ должно учить, получалъ для меня все больше значенія,— говоритъ Левъ Николаевичъ,—только рѣшивъ его, я могъ быть увѣренъ, что то, чему и какъ я училъ, не было ни вредно, ни безполезно.

Въ то время я не нашелъ въ педагогической литературѣ не только сочувствія, не нашелъ даже противорѣчій, но совершеннѣйшее равнодушіе къ поставленному мною вопросу. Были нападки на нѣкоторыя подробности, мелочи, но самый вопросъ очевидно никого не интересовалъ. Я не понималъ, что я съ своимъ вопросомъ: почему Вы знаете, чему и какъ учить?— былъ подобенъ тому человѣку, который бы, положимъ, хоть въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ побольше собрать податей, предложилъ имъ слѣдующее: Господа, чтобы знать, съ кого сколько брать податей, надо разобрать вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія?... Очевидно, всѣ паши продолжали бы свое обсужденіе о мѣрахъ

взысканія и только молчаніемъ отозвались бы на неумѣстный вопросъ».

При содѣйствіи Льва Николаевича открыто было тогда 14 школъ, «но—говоритъ онъ,—я такъ измучился посредничествомъ, школами и журналомъ, такъ тяжела мнѣ стала борьба по посредничеству, такъ смутно проявлялась дѣятельность моя въ школахъ, что я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирцамъ: дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью».

Остановимся теперь на впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ Толстымъ изъ его педагогической дѣятельности. Несомнѣнно прежде всего, что къ своимъ занятіямъ онъ относился не просто какъ педагогъ, а какъ истинный художникъ. Нѣчто великое стояло передъ его воображеніемъ и манило къ себѣ. Каждый ребенокъ, посѣщавшій его школу, былъ не только педагогическимъ матеріаломъ, а живымъ человѣкомъ, душу котораго онъ изучалъ, чья фигура складывалась въ его умѣ въ художественный образъ. Припомните, что̀ Толстой разсказываетъ о своихъ любимцахъ Ѳедѣ и Сенѣ. Читая и перечитывая посвященныя имъ страницы, невольно начинаешь соглашаться съ Н. К. Михайловскимъ, замѣтившимъ какъ-то, что въ IV-мъ томѣ полнаго собранія сочиненій Толстого, т. е. въ статьяхъ, посвященныхъ Ясной Полянѣ, встрѣчаются художественные перлы, равныхъ которымъ не найдешь въ другомъ мѣстѣ. Вотъ напр. описаніе ночной прогулки графа Толстого съ его учениками.

«Мы пошли къ деревнѣ. Ѳедька все не пускалъ моей руки, теперь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ были такъ близки въ эту ночь, какъ давно уже не были. Пронька пошелъ рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. «Вишь, огонь еще у Мазановыхъ!» сказалъ онъ. «Я нынче въ классъ шелъ, Гаврюха изъ кабака ѣхалъ пьяный-распьяный; лошадь вся въ мылѣ, онъ-то ее ожариваетъ... Я всегда жалѣю. Право! за что ее бить?»—«А надысь батя, сказалъ Семка, пустилъ свою лошадь изъ Тулы, она его въ сугробъ завезла, а онъ спитъ пьяный».—«А Гаврюха такъ по глазамъ и хлещетъ... и такъ мнѣ жалко стало, еще разъ сказалъ Пронька:—за что онъ ее билъ? слѣзъ, да и хлещетъ». Семка вдругъ остановился. «Наши уже спятъ», сказалъ онъ, вглядываясь въ окна своей кривой черной избы. «Не пойдете еще?»—«Нѣтъ».—«Пра-ащайте, Л. Н.», крикнулъ онъ вдругъ и, какъ будто съ усиліемъ оторвавшись отъ насъ, рысью побѣжалъ къ дому, поднялъ щеколду и скрылся. «Такъ ты и будешь разводить насъ—сперва

одного, а потомъ другого?» сказалъ Ѳедька. Мы пошли дальше. У Проньки былъ огонь; мы заглянули въ окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина съ черными бровями и глазами, сидѣла за столомъ и чистила картошку; на срединѣ висѣла люлька; математикъ 2-го класса, другой братъ Проньки, стоялъ у стола и ѣлъ картошку съ солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропасти на тебя нѣтъ!» закричала мать на Проньку. «Гдѣ былъ?» Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что онъ не одинъ, и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорошее, притворное выраженіе. Остался одинъ Ѳедька. «У насъ портные сидятъ, оттого свѣтъ», сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ; «нынѣшняго вечера прощай, Л. Н.», прибавилъ онъ тихо и нѣжно и началъ стучать кольцомъ въ запертую дверь. «Отоприте», прозвучалъ его тонкій голосъ среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянулъ въ окно: изба была большая; съ печи и лавки виднѣлись ноги; отецъ съ портными игралъ въ карты, нѣсколько мѣдныхъ денегъ лежало на столѣ. Баба, мачиха, сидѣла у свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прожженый ерыга, молодой мужикъ, держалъ на столѣ карты, согнутыя лубкомъ, и съ торжествомъ глядѣлъ на партнера. Отецъ Ѳедьки съ разстегнутымъ воротникомъ, весь сморщившись отъ умственнаго напряженія и досады, переминалъ карты и въ нерѣшительности сверху замахивался на нихъ своею рабочею рукой. «Отоприте!» Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! еще разъ повторилъ Ѳедька:—всегда такъ давайте ходить».

Это живое, истинно человѣческое, лишенное всякаго профессіональнаго педантизма, отношеніе Толстого къ ученикамъ и было для него неизсякаемымъ источникомъ наслажденія. Онъ отдавался своему дѣлу со страстью и быть можетъ утвердился бы въ немъ, еслибы не эти надоѣдливыя постороннія обстоятельства, стоящія, какъ извѣстно, всегда на пути всякой дѣятельности. Препятствія, встрѣченныя графомъ Толстымъ, были различны. Они шли, какъ мы видѣли только-что, и отъ администраціи, и отъ сосѣдей-помѣщиковъ, почему-то подозрительно посматривавшихъ на графа-педагога. Меньше всего виновата крестьянская косность, хотя, разумѣется, Толстому приходилось наталкиваться и на нее. Вотъ примѣръ, довольно характерный въ этомъ отношеніи:

«...Общество въ дер. Подосинкахъ нашло своего учителя и на предложеніе мое замѣстить выбраннаго ими учителя другимъ объявило, что не нуждается въ новомъ учителѣ и сво-

имъ довольно. Учитель этотъ былъ отставной дьячекъ, уже 20 лѣтъ занимавшійся обученіемъ дѣтей... Онъ предложилъ учить дешевле, чѣмъ въ другихъ школахъ... Я посѣтилъ эту школу во время ея цвѣтенія. Когда мы вошли, все было тихо тамъ; 24 мальчика, сидѣвшіе, съ вырѣзными указками, чинно вокругъ длиннаго стола, вдругъ запѣли на разные голоса. Во главѣ всѣхъ сидѣлъ сынъ огородника, лѣтъ 16-ти, въ синемъ кафтанѣ. Онъ запѣвалъ: «надѣющійся на ны»; сосѣдъ его, водя указкой по засаленной азбукѣ, пѣлъ: «слова подъ титлами: ангелъ, ангельскій, архангельскій»; и снова начиная: «слова подъ титлами: ангелъ и т. д.»; третій: «буки-арцы-азъ-бра»; четвертый—«премудрость». Когда я вошелъ въ избу, они закричали, потомъ встали. Учителя не было. Я спросилъ, зачѣмъ они встали? Они объяснили, что меня ждали и что такъ имъ было приказано. Я попросилъ ихъ сѣсть и продолжать; всѣ начали опять съ тѣхъ же словъ: «надѣющіеся, слова подъ титлами» и т. д. Здѣсь я въ первый разъ видѣлъ классическую старинную школу».

Мужички, какъ видно, предпочли своего дьячка потому, что тотъ обходился имъ дешевле. Но вообще, повторяю, не эта сторона дѣла утомила Толстого и заставила его разочароваться.

Какъ во всемъ въ жизни, Толстой и въ педагогической дѣятельности стремился къ грандіозному и даже безусловному. Не обученіе грамотѣ было ему нужно, а воспитаніе человѣческаго характера путемъ любви, свободы и знанія. Нищенская программа нашихъ школъ была ему противна. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ вѣрилъ онъ въ дѣтей и какъ высоко цѣнилъ ихъ дарованія, можетъ служить статья изъ журнала «Ясная Поляна», озаглавленная: «Кому у кого учиться писать (въ смыслѣ творчества): крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ?» Оказывается, что и самому графу Толстому было небезполезно «сочинять» вмѣстѣ съ Ѳедькой и Сенькой, то руководя ими, то подчиняясь имъ. Пусть читатель прочтетъ эту замѣчательную статью, краткая передача которой только бы испортила ее—и онъ пойметъ то огромное и безусловное, что̀ носилось передъ воображеніемъ графа Толстого во время его занятій съ крестьянскими ребятами.

VIII.

Писательская драма.

Никогда раньше Толстой такъ тѣсно не сближался съ крестьянскимъ міромъ, какъ во время своего учительства въ Ясно-Полянской школѣ и мирового посредничества. Каждый день ему приходилось разговаривать съ различными «опчествами» или депутатами этого общества и вести долгія задушевныя бесѣды съ крестьянскими ребятами,—бесѣды, такъ подробно описанныя имъ въ IV-мъ томѣ его сочиненій. Но это-то сближеніе и послужило поводомъ къ пересмотру всѣхъ своихъ культурныхъ теорій съ точки зрѣнія простого народа. Здѣсь-то и скрывается источникъ той писательской драмы, которая совершилась въ 61-мъ и въ 62-мъ годахъ и, вновь выплывши на сцену, 20 лѣтъ спустя довела Толстого до полнаго почти отрицанія собственной художественной дѣятельности. Нужно-ли народу, т. е. массѣ, т. е. въ сущности всему человѣчеству, на которомъ культурные люди являются лишь наслоеніемъ, то, что я пишу?—Послѣ долгаго мучительнаго анализа Толстой отвѣтилъ: нѣтъ, не надо. Во имя чего я пишу? задалъ онъ себѣ другой вопросъ, и опять-таки рѣзко отвѣтилъ себѣ: только во имя эгоизма, только во имя самоублаженія. Отсюда ясный выводъ: писательство—пустяки, потому что оно не нужно массѣ, и писательство вредно, безнравственно, скверно, потому что оно служитъ тому же алчному культурному *я*. А вѣдь смыслъ жизни въ любви, самоотверженіи. Вліяніе Руссо, отмѣченное нами еще въ года юности, инстинктивное отвращеніе къ легкой, веселой и распущенной жизни, которую вели петербургскіе литераторы 50-хъ годовъ, преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ севастопольскихъ солдатъ, страхъ смерти, придавшій всякой мысли и чувству пессимистическое настроеніе—все это соединилось во-едино, чтобы заставить *писателя* Толстого признать вредъ *книгопечатанія*, а *художника* Толстого считать безполезнымъ или прямо вреднымъ *созданіе художественныхъ произведеній*. Есть не мало поэтическихъ картинъ, гдѣ скульпторъ бросаетъ свой рѣзецъ и разбиваетъ только что оконченную статую, гдѣ музыкантъ разбиваетъ свой инструментъ и т. д., но мотивомъ этого страшнаго недовольства художника собственнымъ созданіемъ всегда является невозможность достигнуть идеала. Этого мотива не было у Толстого. Его мѣра—не идеалъ

искусства, а нужда и требованіе народа. Во имя этой нужды и требованій онъ отрекся отъ господствовавшей въ его время педагогики и отъ господствовавшихъ въ его время взглядовъ на литературу.

Кажется, Толстой не долюбливалъ Достоевскаго, но, право, чѣмъ больше вдумываешься въ дѣло, тѣмъ яснѣе видишь, что у обоихъ писателей земли русской много и много общаго. «Мы всѣ демократы и можемъ поступать и разсуждать лишь какъ демократы»—говорилъ Достоевскій... Онъ всегда проповѣдывалъ любовь, самоотреченіе, смиреніе. Онъ ненавидѣлъ легкій взглядъ на жизнь, и съ его точки зрѣнія выходило, что «жизнь—задача громадная; что житейская борьба сурова, что не для радости живетъ человѣкъ, а для осуществленія нравственнаго идеала, въ жертву которому онъ долженъ принести свое *я*»... Правда, у Толстого нѣтъ мистической экзальтаціи и *припадковъ* творчества, но и его жизнь, какъ жизнь Достоевскаго,—постоянныя внутреннія муки, сомнѣнія, ожесточенная борьба съ самимъ собой, а единственный выходъ изъ этой скверной жизни нравственный долгъ и народъ...

«Для меня очевидно,—писалъ Толстой въ 1861 г., что расположеніе журналовъ и книгъ, безостановочный и громадный процессъ книгопечатанія былъ выгоденъ для писателей, редакторовъ, издателей, корректоровъ и наборщиковъ. *Огромныя суммы народа косвенныли путями перешли въ руки этихъ людей.* Книгопечатаніе такъ выгодно для этихъ людей, что для увеличенія числа читателей придумываются всевозможныя средства: стихи, повѣсти, скандалы, обличенія, сплетни, полемика, подарки, преміи, общества грамотности, распространенія книгъ и школы для увеличенія числа грамотныхъ... Но ежели число журналовъ и книгъ увеличивается, ежели литература такъ хорошо окупается, то стало быть она необходима, скажутъ мнѣ наивные люди. Стало быть откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвѣчу я... *Литература, такъ же какъ и откупа, есть только искусная эксплоатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа...* У насъ есть разные журналы, есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, несмотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣланныхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе «Бориса Годунова» Пушкина или исторію Соловьева,

надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. *Наша литература не прививается и не привьется народу;* надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усумнятся въ этомъ... Всякій добросовѣстный судья, неодержимый вѣрою прогресса, признается, что *выгодъ книгопечатанія для народа не было...* Но скажутъ можетъ быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогрессъ книгопечатанія, не принося прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, что смягчаетъ нравы общества; что разрѣшеніе крѣпостного вопроса, напримѣръ, есть только произведеніе прогресса книгопечатанія. На это я отвѣчу, что смягченіе нравовъ общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужнымъ вѣрить на слово. Я не нахожу напримѣръ, чтобы отношенія фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отношеній помѣщика къ крѣпостному... Главное же, что я имѣю сказать противъ такого аргумента, есть то, что, взявъ въ примѣръ хотя освобожденіе отъ крѣпостного права, я не вижу, чтобы книгопечатаніе содѣйствовало его прогрессивному разрѣшенію. Ежели бы правительство въ этомъ дѣлѣ не сказало своего рѣшительнаго слова, то книгопечатаніе безъ сомнѣнія разъяснило бы дѣло совершенно иначе. Мы видѣли, что большая часть органовъ требовала бы освобожденія безъ земли и приводила бы доводы, столь же кажущіеся разумными, остроумными, саркастическими. *Прогрессъ книгопечатанія*, какъ и прогрессъ электрическихъ телеграфовъ, *есть монополія извѣстнаго класса общества*, выгодная только для людей этого класса, которые подъ словомъ прогрессъ разумѣютъ свою личную выгоду, вслѣдствіе того всегда противорѣчащую выгодѣ народа. Мнѣ пріятно читать журналы отъ праздности; я даже интересуюсь Оттономъ, королемъ греческимъ. Мнѣ пріятно написать или издать статейку и получить по телеграфу извѣстіе о здоровьи моей сестрицы и знать навѣрное, какой цѣны я долженъ ожидать за свою пшеницу. Какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ нѣтъ ничего предосудительнаго въ удовольствіяхъ, которыя я при этомъ испытываю, и въ желаніяхъ, которыя я имѣю, чтобы удобства къ такого рода удовольствіямъ увеличивались, но *совершенно несправедливо будетъ думать, что мои удовольствія совпадаютъ съ увеличеніемъ благосостоянія всего человѣчества»...* (Сочиненія, т. IV 192 и слѣд.).

Въ подчеркнутыхъ мною фразахъ точка зрѣнія Толстого выяснена какъ нельзя лучше. Я не согласенъ съ ней, какъ не согласенъ съ тѣмъ, что высшая математика безполезна или вредна лишь по-

тому, что она недоступна пониманію трехлѣтняго ребенка. Ребенокъ выростетъ. Да едва ли теперь можно сказать, что «прогрессъ книгопечатанія есть монополія извѣстнаго класса общества», а ужъ если говорить о вредѣ, то на первый планъ надо выдвигать *монополію*, а ужъ никакъ не книгопечатаніе—простое орудіе для полезнаго и вреднаго, прекраснаго и сквернаго.

Но для меня теперь важна не мысль Толстого, а его настроеніе, его писательская драма, по поводу которой между прочимъ считаю нужнымъ напомнить, что впервые она была подвергнута блестящему анализу въ сочиненіяхъ Н. К. Михайловскаго въ 1875 году:

«Я прошу теперь читателя серьезно вдуматься въ душевное состояніе писателя, пришедшаго къ вышеприведеннымъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе и литературу,—писателя не ради куска хлѣба и не по какимъ-либо случайнымъ обстоятельствамъ, а такого, какъ графъ Толстой, т. е. писателя по призванію, неудержимо гонимаго на литературное поприще избыткомъ творческой силы. Положеніе истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говоритъ, что нѣтъ ничего предосудительнаго въ желаніи написать статейку и получить за нее деньги и извѣстность. Но графъ Толстой знаетъ, что этимъ именно непредосудительнымъ путемъ «огромныя суммы перешли въ руки лицъ, прикосновенныхъ къ литературѣ и книгопечатанію, что такъ именно слагается вся литература, эта искусственная эксплоатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа». Человѣку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности,—легко сказать то, что говоритъ гр. Толстой. Съ другой стороны, есть много людей, совершающихъ ужасныя преступленія и тѣмъ не менѣе спокойныхъ душой, потому что ихъ дѣйствія для нихъ не суть преступленія; они не сознаютъ ихъ преступности. Словомъ, когда сознаніе и потребности находятся тѣмъ или другимъ способомъ въ равновѣсіи, жить легко. Гр. Толстой, напротивъ, ясно сознаетъ, что литература есть одинъ изъ видовъ эксплуатаціи народа, и тѣмъ не менѣе участвуетъ въ ней, потому что, какъ вѣчному жиду таинственный голосъ не уставалъ говорить: иди, иди, иди, такъ и гр. Толстому внутренній голосъ, голосъ его богатоодаренной природы не устаетъ говорить: пиши, пиши, пиши».

Любопытно однако прослѣдить и за дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ Толстого на тотъ же предметъ. Въ тѣхъ же ясно-полянскихъ статьяхъ онъ говоритъ напр.:

«Страшно сказать: я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми требованіями и даже произведеніями тѣхъ же искусствъ, образчики которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое стихотвореніе, какъ напримѣръ: «Я помню чудное мгновенье», произведенія музыки, какъ послѣдняя симфонія Бетховена,—не такъ безусловно и всемірно хороши, какъ пѣсня о «Ванькѣ-клюшникѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»; что Пушкинъ и Бетховенъ нравятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, но потому, что мы такъ же испорчены, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково льстятъ нашей уродливой раздражительности и нашей слабости».

Или:

«Картина Иванова возбудитъ въ народѣ только удивленіе предъ техническимъ мастерствомъ, но не возбудитъ никакого, ни поэтическаго, ни религіознаго чувства, тогда какъ это самое поэтическое чувство возбуждено *лубочною картинкой Іоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ*. Венера Милосская возбудитъ только законное отвращеніе предъ наготой, предъ наглостью разврата—стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится непріятнымъ шумомъ, интереснымъ развѣ только потому, что одинъ играетъ на большой дудкѣ, а другой на большой скрипкѣ. Лучшее произведеніе нашей поэзіи, лирическое стихотвореніе Пушкина, представится наборомъ словъ, а смыслъ его—презрѣнными пустяками. Введите дитя народа въ этотъ міръ (вы это можете сдѣлать и постоянно дѣлаете посредствомъ іерархіи учебныхъ заведеній, академій и художественныхъ классовъ),—онъ прочувствуетъ, и прочувствуетъ искренно, и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартетъ Бетховена, и лирическое стихотвореніе Пушкина. Но, войдя въ этотъ міръ, онъ будетъ дышать уже не всѣми легкими, уже его болѣзненно и враждебно будетъ охватывать свѣжій воздухъ, когда ему случится вновь выдти на него».

Слѣдуетъ-ли изъ этого, что не надо писать картинъ Иванова и Рафаэля, а изображать Ивана Новгородскаго и *чорта въ кувшинѣ?* Въ 60-хъ годахъ такого вывода гр. Толстой еще не сдѣлалъ, а только рѣзко выставилъ противорѣчіе, изъ котораго можно сдѣлать однако выводы діаметрально противоположные...

Писательскую драму гр. Толстого Н. К. Михайловскій объясняетъ

его десницей и шуйцей или, проще, старо-барскими дрожжами по наслѣдственности, воспитанію и условіямъ жизни рядомъ съ народническими демократическими симпатіями сердца и выводами разума, причемъ десница и шуйца никакъ не могутъ столковаться между собою. Графъ Толстой хотѣлъ-бы служить народу своимъ творческимъ талантомъ, быть народнымъ писателемъ, но «кругъ его умственныхъ интересовъ и слишкомъ широкъ, и слишкомъ узокъ для роли народнаго писателя. Съ одной стороны, онъ владѣетъ запасомъ образовъ и идей, недоступныхъ народу по своей широтѣ и высотѣ. Съ другой стороны, онъ какъ человѣкъ извѣстнаго слоя общества слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу мелкія, узкія радости и тревоги этого слоя; слишкомъ ими занятъ, чтобы отказаться отъ поэтическаго ихъ воспроизведенія. Забавы аристократическихъ салоновъ и бури дамскихъ будуаровъ, несмотря на все ихъ ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуютъ. Эти интересы—новый элементъ совершающейся въ его душѣ драмы—мѣшаютъ ему не только быть народнымъ писателемъ, но и идти по другому, косвенному пути: къ примиренію потребности поэтическаго творчества съ сознаніемъ нѣкоторой его грѣховности...»

Вопросъ о косвенныхъ путяхъ и примиреніи противорѣчій мы оставимъ пока въ сторонѣ и будемъ продолжать нашъ анализъ. Въ приведенныхъ изъ ясно-полянскихъ статей отрывкахъ читатель видитъ передъ собой разъѣдающій скептицизмъ, упирающійся пока въ глухой переулокъ и заканчивающійся мучительнымъ вопросомъ: «что-же дѣлать?» Читатель помнитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что этотъ скептицизмъ являлся безусловно характернымъ для Толстого еще въ годы его отрочества и юности. Но форма осталась та же самая, сущность-же значительно измѣнилась. Скептицизмъ отрочества и юности безцѣленъ и непроизволенъ; онъ подкапывается подъ то или другое положеніе, не зная—зачѣмъ, не спрашивая себя—почему, а лишь повинуясь могучему инстинкту, заложенному природой, и наслаждается при этомъ собственной своей игрой. У него нѣтъ критеріума. Поздній скептицизмъ—другое дѣло. Онъ такъ-же остръ, такъ-же мучителенъ и непроизволенъ, но у него есть уже исходный пунктъ, есть точка отправленія, откуда онъ совершаетъ свои аттаки и вылазки, есть, словомъ, знамя. Это знамя—народъ и народные интересы и вмѣстѣ съ тѣмъ невольное страстное желаніе отдѣлаться отъ собственной душевной надломленности.

«Я думаю, говоритъ тотъ-же Н. К. Михайловскій, что если-бы

въ такомъ положеніи могъ оказаться человѣкъ дюжинный, онъ покончилъ-бы самоубійствомъ или пьянствомъ... Человѣкъ недюжинный будетъ, разумѣется, искать другихъ выходовъ».

Но выхода собственно Толстой самъ не нашелъ. Его на нѣкоторое время по крайней мѣрѣ выручила жизнь и могучая потребность жизни, инстинктъ счастья и наслажденія.

Какъ это случилось, какъ удалось Толстому не уничтожить въ себѣ сомнѣнія, а замолчать ихъ на цѣлыя пятнадцать лѣтъ—мы увидимъ сейчасъ-же.

IX.

Семейная жизнь.

«Вернувшись отъ башкиръ, продолжаетъ свой разсказъ Л. Толстой, я женился. Новыя счастливыя условія семейной жизни совершенно отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше... Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, я все-таки продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенія въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни, моей и общей. И я писалъ, научая тому, что для меня было единой истиной: что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше».

Толстой вернулся изъ Самарской губерніи прямо въ Москву съ значительно поправившимся здоровьемъ и безъ страха неминуемой смерти отъ чахотки. Здѣсь, въ Москвѣ, онъ часто посѣщалъ домъ д-ра Берса, гдѣ были три дѣвушки, дочери хозяина. Выборъ Толстого палъ на среднюю, Софью Андреевну, хотя, кажется, всѣ три сестры были къ нему неравнодушны и всячески старались выказать ему свое расположеніе. Однажды, напр., Толстой, пріѣхавъ къ Берсамъ, сталъ разсказывать, что на-дняхъ онъ проигрался въ пухъ и прахъ за зеленымъ столомъ, почему и пришлось ему только-

что написанную повѣсть «Казаки» продать Каткову за 1000 р. Барышни расплакались, и быть можетъ эти-то слезы окончательно утвердили Толстого въ его рѣшимости испытать сладости семейной жизни. Онъ попросилъ руки Софьи Андреевны, но ему сначала отказали, потому что не хотѣли отдавать второй дочери раньше замужъ, чѣмъ первую. Однако дѣло уладилось. Окончательное объясненіе Л. Толстого съ будущей женой произошло точно такъ, какъ это описано въ «Аннѣ Карениной» въ сценѣ объясненія Левина съ Китти: однѣми начальными буквами... Это—маленькая странность и вмѣстѣ съ тѣмъ маленькій легкій штрихъ въ портретѣ Толстого и его страсти во всемъ идти особенной дорогой.

Свадьба была 23 сентября 1862 года. Толстому было 34 года, а его невѣстѣ 18. Разница лѣтъ нѣсколько велика. Такъ думалъ по крайней мѣрѣ самъ Толстой, когда писалъ свой романъ «Семейное счастье». Но его семейное счастье оказалось гораздо болѣе прочнымъ и устроеннымъ по другой программѣ, чѣмъ въ романѣ. Это счастье Ростовыхъ, Безухихъ, Левина и Китти Щербацкой...

Нѣсколько отрывковъ изъ писемъ къ Фету покажутъ настроеніе его въ первые мѣсяцы и годы послѣ женитьбы. «Я двѣ недѣли женатъ—пишетъ, напр., Толстой отъ 9 окт. 62 г.—и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человѣкъ...» Или: (1863 г.) «Теперь я пишу исторію пѣгаго мерина («Холстомѣръ»), къ осени думаю напечатать. Впрочемъ теперь какъ писать? Теперь незримыя усилія, даже зримыя, и притомъ я въ хозяйствѣ опять прямо по уши. И Соня со мной. Управляющаго у насъ нѣтъ, есть помощники по полевому хозяйству и постройкамъ, а она одна ведетъ контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый садъ, и випокурня. И все идетъ понемножку, хотя, разумѣется, плохо, сравнительно съ идеаломъ...» Или (1864 г.) «Жена моя совсѣмъ не играетъ въ куклы. Вы не обижайте. Она мнѣ серьезный помощникъ. Мы хозяйствуемъ понемножку. Я сдѣлалъ важное открытіе, которое спѣшу вамъ сообщить. Приказчики, управляющіе и старосты есть только помѣха въ хозяйствѣ. Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10 часовъ, и все пойдетъ навѣрное не хуже. Я сдѣлалъ этотъ опытъ и остался имъ вполнѣ доволенъ...»

Все пока дышетъ бодростью и радостью жизни. Пусть читатель припомнитъ кстати и маленькую художественную сценку изъ «Анны Карениной»,—сцену, очевидно списанную съ натуры. Долго казалось Левину его новое состояніе и новое счастье неестественнымъ. «За что именно мнѣ такое счастье? говорилъ онъ Китти. Ненатурально,

слишкомъ хорошо», сказалъ онъ, цѣлуя ея руку. Китти думала объ этомъ иначе, по своему, непосредственно по женски. «Мнѣ, напротивъ, чѣмъ лучше, тѣмъ натуральнѣе»,—отвѣтила она мужу весьма основательно...

Сомнѣнія не прекратились совсѣмъ, но были глубоко подавлены «новымъ состояніемъ и новымъ счастьемъ...» Порядокъ, замѣнившій прежнюю распущенность, полное забвеніе кутежей и карточной игры, усиленныя хозяйственныя работы, а главное любовь, та любовь, сознавая въ себѣ которую Левинъ чувствовалъ, что «она спасаетъ его отъ отчаянія и что любовь эта подъ угрозой отчаянія станетъ еще сильнѣе и чище», многочисленный семейный кружокъ, наконецъ,—все это подѣйствовало на Толстого освѣжающимъ и обновляющимъ образомъ. Онъ часто говорилъ, что «онъ вполнѣ счастливъ въ семейной жизни и что онъ нашелъ не только любящую жену и прекрасную мать, но и помощницу въ его литературной дѣятельности». Онъ постоянно посвящалъ Софью Андреевну во всѣ свои писательскіе замыслы, думы и чувства.—«Она одна умѣетъ собрать и привести въ порядокъ всѣ клочки и бумаги, на которыхъ писались драгоцѣнныя строки. Она одна умѣетъ разобрать его въ высшей степени нечеткій почеркъ и изъ поспѣшно сдѣланныхъ имъ, вмѣсто цѣлыхъ словъ, штриховъ и линеекъ воспроизвести именно то, что мыслилъ и хотѣлъ написать ея мужъ. Онъ часто самъ удивлялся этому. Она съ примѣрной аккуратностью и бережливостью хранитъ для потомства всѣ рукописи какъ изданныхъ, такъ и неизданныхъ его сочиненій...»

Скоро пошли дѣти... Ощущенія отца при рожденіи перваго ребенка прелестно описаны въ «Аннѣ Карениной», и мнѣ остается только привести нѣсколько строкъ изъ этого описанія и напомнить о немъ читателю: «Левинъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершилось, было подобно тому, что совершилось годъ тому назадъ... на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость .. Но и то горе, и эта радость были одинаково внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, *были въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высокое.* И одинаково тяжело, мучительно наступило совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, *поднималась душа на такую высоту, которой она никогда не понимала прежде и куда разсудокъ не поспѣвалъ уже за нею...*»

Семья Л. Н. Толстого съ каждымъ годомъ становилась многочисленнѣе, и въ настоящее время у него, кстати замѣтить, 9 чело-

вѣкъ дѣтей, изъ которыхъ пять сыновей. Младшій сынъ родился лишь въ 1891 г.

Мы видѣли, что въ юности Толстой увлекался Руссо; привязанность къ идеямъ, особенно педагогическимъ, великаго женевца осталась у него на всю жизнь. Поэтому между прочимъ всѣхъ дѣтей выкормила сама мать. Взгляды Руссо примѣнялись вообще, гдѣ только было возможно. Изъ дѣтской навсегда были изгнаны игрушки; старались какъ можно больше имѣть надъ дѣтьми личный надзоръ, а не поручать нянькамъ или боннамъ; дѣтямъ предоставлялась наибольшая свобода; было положено за правило не прибѣгать ни къ насилію, ни къ наказанію. Левъ Николаевичъ находилъ, что принципъ дѣтской самостоятельности нигдѣ не примѣняется такъ широко, какъ въ Англіи. Поэтому дѣти отъ трехъ до 8 или 9 лѣтъ поручались молодымъ англичанкамъ, которыя выписывались прямо изъ Англіи.

«Левъ Николаевичъ,—разсказываетъ Берсъ,—любилъ открывать ребенку его безсиліе въ природѣ и зависимость отъ взрослыхъ, но не съ цѣлью запугать, а открыть ему правду. Это дѣлалось иногда въ формѣ шутки и съ оттѣнкомъ ласки.

«Когда дѣти нуждались въ прислугѣ, имъ запрещалось приказывать. Они должны были просить, прибавляя непремѣнно слово: «пожалуйста». Для примѣра это дѣлалось самими родителями и прочими въ семьѣ.

«Независимо отъ состраданія къ ближнему, въ дѣтяхъ старались развить жалость къ животнымъ.

«Ложь преслѣдовалась строго и легко могла повлечь за собой наказаніе. Наказаніе очень рѣдко проявлялось въ какихъ нибудь дѣйствіяхъ, напр. заключеніе въ комнатѣ и т. п; а выражалось преимущественно въ холодномъ обращеніи родителей съ дѣтьми за ихъ проступки. Вообще наказывали только малыхъ. Какъ только замѣчалось раскаяніе, наказаніе немедленно отмѣнялось. У дѣтей никогда не вымогались обѣщанія не повторять проступковъ и просьбы о прощеніи ихъ. Откровенность и довѣріе дѣтей къ родителямъ развивались въ нихъ своевременной лаской.

«Всѣмъ этимъ руководили сами родители. Наказаніе дѣтей воспитателямъ безусловно возбранялось.

«Весь взрослый персоналъ Ясной Поляны обязанъ былъ помнить, что дѣти могутъ заимствовать все то, что они видятъ и слышатъ. Однако дѣтей не удаляли изъ общества взрослыхъ, если въ то время имъ не слѣдовало идти спать, учиться или т. п.

«Поэтому, когда наступало восемь часовъ вечера, и дѣти уходили спать, самъ Левъ Николаевичъ говорилъ: «ну, теперь стало свободнѣе.»

Можно ли было тосковать, да и было ли время тосковать въ этомъ веселомъ дѣтскомъ мірѣ, да еще среди постоянныхъ заботъ и хлопотъ то о покупкѣ пензенскаго имѣнія, то о покупкѣ самарскаго имѣнія, то о заведеніи коннаго завода, то о тысячахъ хозяйственныхъ мелочей?.. А вѣдь графъ Толстой, замѣтимъ это между прочимъ, былъ прекраснымъ хозяиномъ. Одна ключница, служившая у него 9 лѣтъ, разсказываетъ о немъ, какъ о хозяинѣ, вотъ что:

„Графъ самъ слѣдилъ за всѣмъ хозяйствомъ и требовалъ, чтобы у него вездѣ была замѣчательная чистота, и въ коровникѣ, и въ свинярникѣ, и въ овчарнѣ... Въ особенности онъ любовался на своихъ свиней, которыхъ держалъ до трехсотъ штукъ, сидѣвшихъ парами въ отдѣльныхъ небольшихъ хлѣвушкахъ... Здѣсь графъ не терпѣлъ ни малѣйшей грязи: каждый день я и мои помощницы должны были перемывать ихъ всѣхъ, вытирать полъ и стѣны хлѣвушекъ; тогда, проходя по свинярнѣ утромъ, графъ бывалъ очень доволенъ, и громко приговаривалъ: „Какое хозяйство... Какое хорошее хозяйство!“... Зато избави Богъ, если онъ замѣтитъ хоть малѣйшую грязь— сейчасъ разсердится, раскричится... Графъ былъ очень горячій баринъ, и пріѣзжавшій въ Ясную Поляну докторъ нѣсколько разъ говаривалъ ему при мнѣ: „Вамъ нельзя такъ сердиться, графъ, это очень вредно для вашего здоровья“... „Не могу,— отвѣчалъ обыкновенно графъ,—и хочу сдержаться, да не могу, такой ужъ видно у меня характеръ“... Хозяйство давало графу въ то время хорошій доходъ: кромѣ свиней и поросятъ, у него было восемьдесятъ коровъ, пятьсотъ шленскихъ овецъ и очень много птицы... Между прочимъ мы сбивали отличное сливочное масло, которое продавали въ Москву по шестьдесятъ копѣекъ за фунтъ...»

При этихъ постоянныхъ хлопотахъ гдѣ было найти время для сосредоточенной тоски или самоѣденія духа?

Повидимому Толстой и не тосковалъ, и былъ счастливъ, какъ можетъ быть счастливъ человѣкъ на нашей планетѣ. Правильная жизнь, значительные успѣхи по хозяйству, ростъ семьи, а вмѣстѣ съ этимъ и ростъ заботъ, настойчивая литературная работа, обезсмертившая русскую литературу, такъ какъ «Война и Миръ» была написана какъ разъ въ этотъ періодъ,—отвлекала Толстого отъ

того, что было постояннымъ источникомъ его душевныхъ страданій, отъ него самого и его эгоизма. И его собственныя письма, и воспоминанія Берса одинаково изображаютъ его заботливымъ, жизнерадостнымъ семьяниномъ. Онъ самъ говоритъ, что въ то время руководился правиломъ, которое одно только казалось ему истиннымъ: дѣлать такъ, чтобы тебѣ самому и близкимъ твоимъ, т. е. семьѣ, было какъ можно лучше.

Вѣдь это вещь огромной неизмѣримой важности—какъ выйти изъ сферы собственнаго своего эгоизма,—и горе тому, кто на это совсѣмъ не способенъ. Большинство выходитъ путемъ семьи, меньшинство—путемъ общественной дѣятельности; лучшее, т. е. соединеніе того и другого выхода, притомъ соединеніе гармоническое, такъ, чтобы семья не мѣшала обществу, такъ, чтобы не развился до излишнихъ алчныхъ размѣровъ специфическій семейный эгоизмъ,—это лучшее доступно лишь избраннымъ.

Толстой остановился на первомъ выходѣ, и лично для него это было великимъ счастьемъ. Онъ отдохнулъ отъ своей душевной надломленности, и если не совсѣмъ отъ нея излѣчился, то лишь потому, что надломленность-то была слишкомъ велика, а выходъ не таковъ, который можетъ удовлетворить геніальную и вдумчивую натуру. Выходъ былъ самый элементарный.

Но все-же эгоизмъ семейный шире эгоизма личнаго, а не отъ этого ли послѣдняго страдалъ все время Толстой? Онъ перечисляетъ всѣ свои грѣхи—это грѣхи эгоизма и себялюбія: тутъ и корыстолюбіе, и любострастіе, и честолюбіе, и властолюбіе, и гордость, и гнѣвъ, и месть. Онъ страдаетъ отъ страха смерти: развѣ это не прежде всего страхъ за самого себя, свою личность, для которой смерть есть полное и обидное уничтоженіе; онъ противопоставляетъ культурныхъ людей и народъ: развѣ это не противопоставленіе алчной и себялюбивой личности, алчнаго и себялюбиваго «Я» съ природой и молчаливымъ героизмомъ народа?... Семья вывела Толстого изъ заколдованнаго круга его собственной личности, его собственныхъ личныхъ желаній. Отъ своего *я* онъ убѣжалъ въ семейныя заботы, воспитаніе, хозяйство. Всего этого хватило на 15 лѣтъ.

За этотъ пятнадцатилѣтній періодъ онъ, повторяю, представляется намъ любящимъ и рачительнымъ семьяниномъ, пишетъ письма о пшеницѣ и породистыхъ жеребцахъ, и пишетъ все это вполнѣ серьезно, потому что безъ всего этого никакъ нельзя обойтись, разъ хочешь, чтобы тебѣ и близкимъ твоимъ было какъ можно лучше.

Работалъ онъ очень много и надъ литературой, преимущественно зимою, всегда въ теченіе цѣлаго дня, а подчасъ и до поздней ночи. Онъ никогда не ждалъ вдохновенія и держался того мудраго правила, что стоитъ сѣсть работать, и вдохновеніе само придетъ. Ежедневно, за самыми рѣдкими исключеніями, онъ садился за столъ и писалъ или изучалъ источники и матеріалы. За большія свои вещи онъ брался всегда лишь послѣ самой тщательной подготовки. Во время работы ему требовалось абсолютное спокойствіе. Никто, даже жена, не входилъ къ нему въ кабинетъ, когда онъ былъ занятъ. Одно время такой привилегіей пользовалась лишь его старшая дочь, когда была еще ребенкомъ. Знакомыхъ у него всегда было очень мало, такъ что лишь очень немногіе наѣзжали къ нему въ Ясную Поляну. Къ этимъ немногимъ принадлежали Н. Н. Страховъ (безусловно необходимая принадлежность каждаго великаго человѣка или даже псевдо-великаго, въ родѣ Н. Данилевскаго), князь Урусовъ—математикъ, А. Фетъ-Шеншинъ, поэтъ-помѣщикъ и ожесточенный дворянинъ въ одно и то же время. Удѣляя даже своей семьѣ сравнительно немногіе часы дня, Толстой всегда бывалъ веселъ, добродушенъ и шутливъ.

«Нельзя—разсказываетъ Берсъ—передать съ достаточной полнотой того веселаго и привлекательнаго настроенія, которое постоянно царило въ Ясной Полянѣ (1862—1878 г.). Источникомъ его былъ всегда Левъ Николаевичъ. Въ разговорѣ объ отвлеченныхъ вопросахъ, о воспитаніи дѣтей, о внѣшнихъ событіяхъ,—его сужденіе было самое интересное. Въ игрѣ въ крокетъ, въ прогулкѣ онъ оживлялъ всѣхъ своимъ юморомъ и участіемъ, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самаго простого дѣйствія, которымъ бы Левъ Николаевичъ не умѣлъ придать интереса и вызвать къ нимъ хорошаго и веселаго отношенія въ окружающихъ...

«Подчиняясь его вліянію и настроенію, дѣти безъ затрудненія совершали съ нимъ прогулки, напр. верстъ въ 15. Мальчики съ восторгомъ ѣздили съ нимъ на охоту съ борзыми собаками. Всѣ дѣти спѣшили на его зовъ, чтобы дѣлать съ нимъ шведскую гимнастику, бѣгать, прыгать... Зимою всѣ катались на конькахъ, но съ бо̀льшимъ еще удовольствіемъ расчищали катокъ отъ снѣга. Со мной онъ косилъ, вѣялъ, дѣлалъ гимнастику, бѣгалъ въ перегонку и изрѣдка игралъ въ чехарду. Въ это время онъ всегда смѣялся. Когда намъ случалось проходить тамъ, гдѣ косили, онъ непремѣнно подойдетъ и попроситъ косу у того, кто казался наиболѣе устав-

шимъ. Я конечно слѣдовалъ его примѣру. При этомъ онъ всегда объяснялъ мнѣ вопросомъ, отчего мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можемъ косить цѣлую недѣлю подъ-рядъ, а крестьянинъ при этомъ еще и спитъ на сырой землѣ, и питается *однимъ хлѣбомъ?*—«Попробуй-ка ты такъ!» заключалъ онъ».

Съ семьей гр. Л. П. Толстой не любилъ разставаться ни на одинъ день, всегда сѣтовалъ на неотложныя поѣздки и торопился какъ можно скорѣе вернуться домой.

X.

Большіе романы.

Мысль о большомъ цѣльномъ произведеніи, которое отразило бы въ себѣ не моментъ настроенія эпохи, а ее всю, появилась у Толстого очень давно, еще въ пятидесятыхъ годахъ. Его «Дѣтство», по замыслу того времени, должно было составить первую часть, «Отрочество»—вторую, «Юность»—третью, и наконецъ «Зрѣлый возрастъ»—четвертую. Но эту свою мысль Толстой осуществилъ лишь на половину: у него осталась незаконченной даже «Юность», лучшую и счастливѣйшую часть которой онъ обѣщалъ описать впослѣдствіи, но такъ и не описалъ. Большихъ романовъ у Толстого только два: «Война и Миръ» и «Анна Каренина». Они написаны въ пятнадцатилѣтній періодъ, который можетъ быть названъ періодомъ семейнаго счастья».

Впрочемъ какъ этимъ эпитетомъ, такъ и вообще полнымъ внѣшнимъ благополучіемъ жизни Л. Н. Толстого особенно увлекаться не слѣдуетъ. Въ его натурѣ лежитъ источникъ внутреннихъ непримиримыхъ противорѣчій,—душевная надломленность поколѣній, а не только его самого. Удачъ и счастья, выпавшихъ на его долю, смѣло бы хватило на десять обыкновенныхъ смертныхъ; его литературный талантъ смѣло перевѣситъ всю совокупность литературныхъ талантовъ современности; его слава могла бы удовлетворить самого Наполеона—эту ненасытную, воплощенную жажду славы, а доволенъ ли онъ, и былъ ли онъ доволенъ когда? Для людей, которые не могутъ, не смотря ни на что, признать законность личнаго счастья, видя передъ собой несчастье другихъ, — счастья и довольства на землѣ нѣтъ. Но эти люди и являются свѣточами міра. Чтобы избѣгнуть какъ нибудь проклятыхъ и мучительныхъ вопросовъ, они мо-

гутъ закрывать свои проницательные—я бы сказалъ даже пронзительные—глаза разными шорами: эгоизмомъ личнымъ и эгоизмомъ семейнымъ, смиреніемъ и непротивленіемъ. Увы, однако... печать Каина никогда не сходила съ чела геніевъ, какъ красиво выражается Брандесъ, особенно въ тѣ эпохи, когда жизнь кишитъ обидными и преступными противорѣчіями.

Были ли описаны когда-нибудь муки великой и пытливой души? Фаустъ? Прометей? Чайльдъ-Гарольдъ? Манфредъ? Демонъ?—Да, все это—геніальныя попытки описать муки великой и пытливой души, но во всѣхъ этихъ попыткахъ есть одинъ недостатокъ: онѣ слишкомъ общи. Дѣйствительность не мучаетъ, а терзаетъ, колетъ не ножомъ, а булавками, насылаетъ на Прометеевъ не коршуна, а миріады маленькихъ и злыхъ насѣкомыхъ, и самыя великія и пытливыя души не столько страдаютъ, сколько грустятъ...

Грусть, какъ сконцентрированное страданіе, какъ скверный осадокъ всѣхъ жизненныхъ впечатлѣній, никогда не покидала Толстого. Строго говоря, все написанное имъ невыразимо грустно: грустны и Севастопольскіе разсказы, и удивительный перлъ «Три смерти», «Война и Миръ» и «Анна Каренина». Какъ древніе пророки, Толстой является въ нашемъ обществѣ «съ грустнымъ и строгимъ лицомъ». Его признанія—развѣ это не плачъ Іереміи?...

Но мы еще успѣемъ подробно ознакомиться со всѣмъ этимъ; пока же только одинъ маленькій вопросъ: какъ бы могъ довольный человѣкъ въ разгарѣ семейнаго благополучія увлекаться Шопенгауэромъ? А между тѣмъ Толстой увлекается имъ, окруженный семьею и на вершинѣ доступной человѣку славы. Вотъ что 30-го августа 69-го года онъ пишетъ напр. Фету: «Знаешь ли, что было для меня нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ я никогда не испытывалъ... Не знаю, перемѣню ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ—геніальнѣйшій изъ людей... Читая его, мнѣ неностижимо, какимъ образомъ можетъ оставаться имя его неизвѣстнымъ. Объясненіе только одно—то самое, которое онъ такъ часто повторялъ, что кромѣ идіотовъ на свѣтѣ почти никого нѣтъ»...

Пессимистическіе мотивы никогда не замолкали въ душѣ Толстого: они таились въ глубинѣ, а когда показывались наружу, то едва не доводили его до самоубійства. Скрытый, маскирующій себя пессимизмъ мы увидимъ и въ «Войнѣ и Мирѣ»...

Переходимъ къ нему. Какъ создавался этотъ романъ? Прежде всего несомнѣнно въ обстановкѣ самой счастливой по внѣшности.

Толстой принялся писать его немедленно послѣ женитьбы, на лонѣ природы, счастливымъ мужемъ и удачливымъ хозяиномъ. На работу пошло больше пяти лѣтъ; романъ передѣлывался и переписывался *семь* разъ. Можно преклониться передъ такимъ терпѣніемъ и трудомъ, но кромѣ счастья творчество приносило художнику и много мукъ:

„Я тоскую и ничего не пишу—говоритъ Толстой въ письмѣ къ Фету отъ 17 ноября 64 г., — а работаю мучительно. Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на которомъ я принужденъ сѣять. Обдумать и передумать все, что можетъ случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія очень большого, и обдумать милліоны возможныхъ сочиненій для того, чтобы выбрать изъ нихъ одну милліонную—ужасно трудно“...

Но все же въ творчествѣ скрыто громадное счастье—сознаніе своей силы—и всякій истинный художникъ понимаетъ его.

„Я — пишетъ Толстой позже — довольно много написалъ своего романа нынѣшнюю осень. Ars longa, vita brevis, думаю я каждый день. Коли можно бы было успѣть $^1/_{100}$ долю исполнить того, что понимаешь, но выходитъ только $^1/_{1000}$ часть. Все-таки это сознаніе, что *могу*, составляетъ счастье нашего брата. Я нынѣшній годъ съ особенной силой его испытываю“.

Или:

„А знаете, какой я Вамъ про себя скажу сюрпризъ: какъ меня стукнула объ землю лошадь и сломала руку, когда я послѣ дурмана очнулся, я сказалъ себѣ, что я литераторъ. На дняхъ выйдетъ 1-я половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста подробнѣе напишите свое мнѣніе. Ваше мнѣніе, да еще мнѣніе человѣка, котораго я не люблю, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе я выростаю большой, — мнѣ дорого, — Тургенева. Онъ пойметъ. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера, печатаемое теперь мнѣ хотя и нравится болѣе прежняго, но слабо, кажется, безъ чего не можетъ быть, вступленіе. Но что дальше будетъ, — бѣда!... Напишите, что будутъ говорить въ знакомыхъ Вамъ различныхъ мѣстахъ, и главное, какъ на массу. Вѣрно пройдетъ незамѣченнымъ. Я жду этого и желаю—только бы не ругали, а то ругательства разстраиваютъ!... Я радъ, что Вы любите мою жену; хотя я ее люблю меньше моего романа, а все-таки, Вы знаете, жена!“

Отъ 27-го іюля 1867 г. „На дняхъ я пріѣхалъ изъ Москвы и предпринялъ строгое лѣченіе подъ руководствомъ Захарьина,

и главное печатаю романъ въ типографіи Риса, готовлю и посылаю рукопись и корректуры, и долженъ такъ день за день подъ страхомъ штрафа и несвоевременнаго выхода. Это и пріятно, и тяжело".

Я привелъ всѣ документы, которые сохранились лично отъ Толстого по поводу написанія имъ «Войны и Мира». И писался, и печатался романъ очень долго. Первый его томъ появился въ 67-мъ году, послѣдній въ 69-мъ.

Кажется, ни объ одномъ изъ произведеній русскаго автора, за исключеніемъ развѣ «Отцовъ и Дѣтей» Тургенева, не писали такъ много, какъ о «Войнѣ и Мирѣ», и, что особенно странно, большинство писавшихъ писали хорошо, недурно по крайней мѣрѣ. «Геній — говаривалъ, улыбаясь, Гете — разводитъ громадные костры: изъ нихъ не трудно утащить по головешкѣ».

«Войну и Миръ» серьезно сравнивать можно лишь съ «Иліадой». И тамъ, и здѣсь передъ нами картина борьбы за существованіе, за жизнь цѣлаго народа; и тамъ, и здѣсь народныя массы не сходятъ со сцены. Всегда и вездѣ вы чувствуете ихъ присутствіе, всѣмъ ходомъ событій руководятъ они. Теорія войны, философско-историческіе взгляды Толстого, судьба его главныхъ дѣйствующихъ лицъ опредѣлены и обусловлены *народомъ*. Народъ—герой романа, и напрасно искать другого. У народа свои представители и выразители: главныхъ изъ нихъ два—Кутузовъ и Платонъ Каратаевъ.

Толстой идеализируетъ Кутузова. Это интересно для историка, но нисколько не интересно для насъ. Намъ важно опредѣлить, почему Толстой идеализируетъ Кутузова и какъ, съ какой точки зрѣнія онъ дѣлаетъ это?... Кутузовъ поднимаетъ народный духъ и повинуется ему. Въ этомъ вся его заслуга.

«Въ 12-хъ и 13-хъ годахъ—пишетъ Толстой—Кутузова прямо обвиняли за ошибки». «Такова судьба не великихъ, не grand hommes, которыхъ не признаетъ русскій умъ, а судьба тѣхъ рѣдкихъ, всегда одинокихъ людей, которые, *постигая волю Провидѣнія, подчиняютъ ей свою личную волю*. Ненависть и презрѣніе толпы наказываетъ этихъ людей за признаніе высшихъ законовъ». Толстой пораженъ, какъ это для русскихъ историковъ Наполеонъ можетъ быть предметомъ восхищенія, а «Кутузовъ—тотъ человѣкъ, который отъ начала до конца своей дѣятельности въ 1812 г., отъ Бородина и до Вильны, ни разу, ни однимъ дѣйствіемъ, ни словомъ не измѣняя себѣ, *являетъ необычайный въ исторіи примѣръ самоотверженія*, представляется имъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ

и блѣднымъ, и говоря о Кутузовѣ и 12-мъ годѣ, имъ всегда какъ будто немножко стыдно». (Стр. 256, ч. VII).

Народныя-то черты характера, т. е. покорность волѣ Провидѣнія и ходу событій, самоотреченіе, отсутствіе личнаго требовательнаго тщеславія, вотъ что Толстой отмѣчаетъ въ Кутузовѣ, вотъ за что онъ возвеличиваетъ его. Кутузовъ, въ сущности, тотъ же Каратаевъ, но въ мундирѣ генералиссимуса.

«Кутузовъ—продолжаетъ Толстой свою восторженную характеристику—никогда не говорилъ о вѣкахъ, которые смотрятъ съ высоты пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приноситъ отечеству; онъ вообще ничего *не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли*, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя и обыкновенныя вещи».

Кутузовъ «вѣритъ по народному, признавая двѣ главныя силы—время и терпѣніе»; онъ молчаливъ, повидимому уступчивъ, на самомъ дѣлѣ несокрушимъ; онъ не признаетъ того, чего онъ самъ хочетъ, а признаетъ нѣчто высшее—волю народа. «Источникъ этотъ необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающихся событій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его»... «Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія».

Кутузовъ, т. е. Кутузовъ «Войны и Мира», знаетъ, что *нельзя* управлять людьми, нельзя создавать событія, *нельзя* одерживать побѣды при помощи диспозицій, тактики и стратегики. Во время сраженія важна не численность солдатъ, не планы и распоряженія, а *духъ* войска, т. е. способность каждаго солдата къ полному самоотреченію и самозабвенію, а во время народной войны важна воля народа, его духъ, его готовность къ полному самоотреченію. Зная за собой эту силу, Кутузовъ отказывается отъ всякихъ переговоровъ съ Наполеономъ, *знаетъ*, что Бородинская битва—побѣда, *убѣжденъ* до конца, что онъ побѣдитъ, что онъ не можетъ не побѣдить и не выгнать французовъ изъ Россіи.

Повторяю, Кутузовъ—это Каратаевъ въ фельдмаршальскомъ мундирѣ. Каратаевъ одинаково выразитель народа, но выразитель гораздо болѣе темный, безсознательный. Это прямо—горсточка земли-матери, народной массы и вмѣстѣ съ тѣмъ воплощеніе молчаливаго, смиреннаго народнаго героизма. Толстой, очевидно, восхищается Каратаевымъ и прежде всего его безсознательностью. Онъ пытается

даже возвести это качество въ историко-философскій и нравственный принципъ и говоритъ: «*Только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды*, и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. *Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью*». Въ другомъ мѣстѣ, кстати замѣтить, Толстой по тому же поводу выражается еще рѣшительнѣе: «Если, читаемъ мы, допустить, что жизнь человѣческая можетъ управляться разумомъ, то уничтожается самая возможность жизни». Итакъ, нуженъ инстинктъ, безсознательность, и съ этой точки зрѣнія выше Каратаева ничего и быть не можетъ. Прежде всего въ Каратаевѣ совсѣмъ нѣтъ его самого, нѣтъ его собственной личности. Все это взяли себѣ и растратили другіе. Въ солдаты онъ попалъ не по очереди, за брата; жилъ и служилъ онъ не для себя, а для исполненія приказаній; застрѣлили его французы какъ собаку, и онъ ни словомъ, ни движеніемъ не могъ и не умѣлъ возразить противъ этого. Въ плѣну, въ казармѣ, въ жизни вообще онъ всегда доволенъ, всегда радостенъ, привѣтливъ, ласковъ. Онъ любитъ всѣхъ, одинаково ко всѣмъ привязывается, одинаково спокойно со всѣми разстается. Онъ не то чтобы фаталистъ, а просто органически не признаетъ, чтобы одинъ отдѣльный человѣкъ могъ что-нибудь сдѣлать, играть какую-нибудь роль въ жизни, управлять событіями. Онъ знаетъ, что онъ, Платонъ Каратаевъ, весь цѣликомъ въ рукахъ чего-то грознаго, могучаго, всесильнаго. Это грозное, могучее, всесильное—жизнь. «Каждое его слово и каждое его дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему, Платону Каратаеву, дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ въ себѣ»... Таковъ Платонъ Каратаевъ, который былъ такимъ же проявленіемъ народнаго духа, какъ Кутузовъ выразителемъ народной воли. Оба послушныя орудія стихійнаго, неотразимаго, огромнаго,—народной массы и жизни милліоновъ...

Сознать и восчувствовать въ себѣ народный духъ, слить себя съ массой, растворить свою личность въ этой массѣ, растворить ее безъ остатка, точно сахаръ въ водѣ,—это и есть доступное и достижимое человѣческое счастье. Платону Каратаеву оно досталось сразу, органически, какъ зеленый цвѣтъ травѣ, какъ запахъ цвѣтку. Интеллигенту во имя этого растительнаго счастья надо страдать, искать, терпѣть. Такъ страдалъ, искалъ, терпѣлъ Пьеръ Безуховъ. И что

же онъ нашелъ? Невыразимую сладость смиренія и лишеній и непосредственной жизни *безъ своей воли*. Вотъ, словами Толстого, что нашелъ Пьеръ Безуховъ:

„Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи,—онъ искалъ этого въ филантропіи, масонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки — всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишенія и черезъ то, что онъ понялъ въ Каратаевѣ. Тѣ страшныя минуты, которыя онъ переживалъ во время казни, какъ будто навсегда вытѣснили изъ его воображенія и воспоминанія тревожныя мысли и чувства, прежде казавшіяся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о Россіи, ни о войнѣ, ни о политикѣ, ни о Наполеонѣ. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что онъ не призванъ былъ и потому не могъ судить обо всемъ этомъ. „Россіи да лѣту—союзу нѣту", повторялъ онъ слова Каратаева, и эти слова *странно* успокоили его.

„И здѣсь, т. е. въ плѣну, въ грязномъ балаганѣ, теперь только въ первый разъ Пьеръ вполнѣ оцѣнилъ наслажденіе ѣды, когда хотѣлось ѣсть; питья, когда хотѣлось пить; сна, когда хотѣлось спать; тепла, когда было холодно; разговора съ человѣкомъ, когда хотѣлось говорить и послушать человѣческій голосъ. Удовлетвореніе потребностей—хорошая пища, чистота, свобода—теперь, когда онъ былъ лишенъ всего этого, казались Пьеру совершеннымъ счастіемъ, а выборъ занятія, т. е. жизнь, теперь, когда выборъ этотъ былъ такъ ограниченъ, казался ему такимъ легкимъ дѣломъ, что онъ забывалъ то, что избытокъ удобствъ жизни уничтожаетъ все счастіе удовлетворенія потребностей, а большая свобода выбора занятій,—та свобода, которую ему въ его жизни давали образованіе, богатство, положеніе въ свѣтѣ,—что эта-то свобода и дѣлаетъ выборъ занятій неразрѣшимо труднымъ и уничтожаетъ самую потребность и возможность занятія".

Но довольно иллюстрацій, ибо дѣло видно и безъ нихъ. Историко-философскіе взгляды Толстого и нравственные выводы ясны. Человѣкъ не значитъ ничего. Надо отречься отъ себя и зажить безсознательной, инстинктивной жизнью «ихъ, т. е. массы и Платона Каратаева. Только тогда возможна полнота жизни, а значитъ и

полнота счастья. Интеллигентъ несчастливъ потому, что онъ слишкомъ раздуваетъ свое «я», слишкомъ большую роль приписываетъ ему, слишкомъ много заботится о немъ, создаетъ въ своемъ воображеніи героевъ, *будто-бы* управляющихъ людьми, *будто-бы* руководящихъ событіями, и самъ хочетъ быть героемъ, т. е. играть роль, управлять людьми, руководить событіями. Это—глупое, преступное желаніе. Человѣческое «я» не сила, а лишь призракъ силы. Сила не въ немъ,—въ чемъ-же?—«Только допустивъ безконечно малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т. е. однородныя влеченія людей, и достигнувъ искусства интегрировать (брать суммы безконечно малыхъ), мы можемъ подняться на постигновеніе законовъ исторіи». Сила исторіи, слѣдовательно, интегралъ, т. е. сумма безконечно большого числа безконечно малыхъ, т. е. перепутывающихся между собой желаній и стремленій людей.

Съ этой точки зрѣнія оправдывается все, ибо какъ можно не оправдывать какую бы то ни было потребность и сумму этихъ потребностей. И Толстой дѣйствительно оправдываетъ все—и кровавое движеніе народовъ съ запада на востокъ, и съ востока на западъ. Онъ обвиняетъ лишь претензіи культурныхъ людей на управленіе себѣ подобными, событіями и ихъ вѣру въ разумъ.

Къ общему смыслу «Войны и Мира» мнѣ еще придется вернуться. Пока же замѣчу, что изложенная выше философія есть философія чисто-пессимистическая, но лишь въ отношеніи личности. Я могу говорить: «вся жизнь не имѣетъ смысла, цѣли, значенія, а значитъ и моя личная жизнь не имѣетъ смысла, цѣли и значенія». Это полное отрицаніе. Или, я могу говорить: «лично я—ничто и ничего не значу, мой разумъ—ничто и ничего не значитъ; я и разумъ кое-что и значатъ что-то, когда они подчинены высшему началу, т. е. всей жизни, и исчезли въ ней, какъ по вѣрованію индійца отдѣльная душа исчезаетъ въ Парабрамѣ». Послѣднее и говоритъ Толстой.

Но откуда это, зачѣмъ это, зачѣмъ такая полнота самоотреченія, откуда такая прелесть растительной жизни?

Мы уже достаточно слѣдили за тѣмъ, какъ искалъ, колебался, отчаявался гр. Толстой. Передъ его острымъ, разъѣдающимъ анализомъ не устояло ничто. Про его героевъ замѣчено какъ-то, что они «съ освѣщенными внутренностями», но такимъ онъ былъ и самъ для себя всегда, каждую минуту жизни. Онъ постоянно прислушивался къ себѣ, постоянно смотрѣлъ на жизнь въ лупу, различалъ всѣ ея неровности и шероховатости, такъ же какъ и свои

собственныя, и къ чему другому могъ онъ прійти, какъ не къ полному отрицанію не только земныхъ радостей, но даже и законности художественнаго творчества? Болѣзненно чуткій и впечатлительный, онъ не могъ найти, чѣмъ бы ему удовлетвориться, на чемъ бы ему успокоиться. Ничтожество и безсмыслица всего пугаетъ и отталкиваетъ его. Онъ прямо говоритъ: «*ежели человѣкъ пытается понять историческое событіе (т. е. жизнь), онъ поражается безплодностью*». Ясно значитъ, что источникъ страданія—разумъ человѣческій и личный требовательный эгоизмъ. Еще яснѣе, что надо уничтожить источникъ—и страданія не будетъ. Отсюда философія «Войны и Мира».

Припомню еще одно мѣсто изъ этого романа: «всѣ люди, читаемъ мы, представлялись Пьеру солдатами, *спасающимися отъ жизни:* кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ романовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Только бы не видать ее, эту страшную ее»... и изъ-за пессимистической безличной философіи «Войны и Мира» дѣйствительно не видать ее, эту страшную ее... Исчезаетъ даже страхъ смерти, потому что *я* ничего не значу и ничего отъ смерти не теряю. А богатство, слава, привязанности, друзья?... Да вѣдь съ этой точки зрѣнія о потерѣ ихъ нечего даже и думать.

Личная жизнь тягостна, неразрѣшимо страшна. Человѣкъ боится утерять что-нибудь лишь потому, что онъ любитъ себя, что онъ считаетъ себя *чѣмъ-то*... А если онъ просто дифференціалъ исторіи, невѣдомо кѣмъ интегрируемый и лишь въ интегрированномъ своемъ состояніи производящій то, что называется исторіей, то не страшна и самая смерть...

Опредѣливши, что человѣкъ можетъ, или, вѣрнѣе, чего онъ не можетъ дѣлать, Толстой указываетъ и на то, что онъ долженъ дѣлать. Его долгъ—самоотреченіе и подчиненіе массовой жизни. Но въ массѣ преобладаетъ инстинктъ, безсознательное, и этотъ инстинктъ, это безсознательное сильнѣе всего, лучше всего. Женщина съ этой точки зрѣнія прежде всего мать, дѣтопроизводительница; такой и является въ концѣ концовъ поэтическая въ началѣ Наташа Ростова; семейная жизнь—назначеніе человѣка. Съ могучей діалектической силой Толстой разрѣшаетъ всѣ вопросы, которые тревожили и мучили его, и свой страхъ смерти кладетъ къ ногамъ своей системы и старается задавить его ея огромною логическою тяжестью...

Система прекрасна, какъ созданіе высокаго творческаго духа; въ ея холодныхъ, безжалостныхъ выводахъ вы каждую минуту различаете живое біеніе живого человѣческаго сердца. Но, Боже мой, какое это измученное, какое это изстрадавшееся человѣческое сердце, съ какимъ ужасомъ заглядываетъ оно въ грядущую могилу, какъ страстно ждетъ покоя и забвенія, лишь бы стереть съ себя печать Каинову. Два источника были всегда у человѣка, чтобы забыть эту страшную «ее» и ея роковую загадку: одинъ—увеличиваетъ наслажденія, другой—уменьшаетъ страданія. Но желанія—какъ соленая вода, сказалъ Будда: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ больше хочется. Толстой пришелъ къ тому же и на небытіи отдѣльной человѣческой личности строитъ свою систему. Онъ не останавливается ни передъ чѣмъ и отнимаетъ у человѣка даже религію, потому что религія даетъ человѣку сознаніе своего «я»... Разсказываютъ, что Достоевскій, прочтя «Войну и Миръ», ограничился лишь словами: «рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ». Можетъ ли удовлетворить кого нибудь эта стройная и прекрасная философская система?

Вопросъ громадный, я дамъ на него самый маленькій отвѣтъ; она совершенно не удовлетворяла самого Толстого, и онъ отрекся отъ нея со всей горечью раскаянія.

Что же касается до самаго романа, то его будутъ еще изучать цѣлыя поколѣнія. Это единственная народная эпопея, которая есть у насъ, и для насъ ея смыслъ такой же, какъ для англичанъ драма Шекспира.

Послѣ «Войны и Мира» Толстой разсчитывалъ написать романъ изъ эпохи Петра Великаго, но, проработавши за изученіемъ матеріаловъ нѣсколько лѣтъ, бросилъ свой замыселъ. Любопытныя подробности объ этомъ мы находимъ въ Воспоминаніяхъ Берса.

Въ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 19 ноября 1872 года графиня Толстая писала брату:

«А теперь у насъ очень, очень серьезная жизнь. Весь день въ занятіяхъ. Левочка сидитъ, обложенный кучею книгъ, портретовъ, картинъ, и нахмуренный читаетъ, дѣлаетъ отмѣтки, записываетъ. По вечерамъ, когда дѣти ложатся спать, разсказываетъ мнѣ свои планы и то, что онъ хочетъ писать; иногда разочаровывается, приходитъ въ грустное отчаяніе и думаетъ, что ничего не выйдетъ, иногда совсѣмъ близокъ къ тому, чтобы работать съ большимъ увлеченіемъ; но до сихъ поръ еще нельзя сказать, чтобы онъ писалъ, а только готовится. Выбралъ онъ время Петра Великаго»...

Въ другомъ письмѣ графини изъ Ясной Поляны отъ 19 декабря 1872 г. читаемъ:

«Всѣ мы очень заняты. Зима—это наша барская рабочая пора, и стоитъ она лѣтней мужицкой работы! Левочка все читаетъ изъ временъ Петра Великаго историческія книги и очень интересуется. Записываетъ разные характеры, черты, бытъ народа и бояръ, дѣятельность Петра и проч.

Самъ онъ не знаетъ, что будетъ изъ его работы, но мнѣ кажется, что онъ напишетъ опять подобную «Войнѣ и Миръ» поэму въ прозѣ, но изъ временъ Петра Великаго»...

Въ третьемъ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 23 февраля 1873 г. идетъ рѣчь о томъ-же:

«Левочка все читаетъ и пытается писать, а иногда жалуется, что вдохновенія нѣтъ, а иногда говоритъ, что недостаточно подготовленъ, и все больше и больше читаетъ матеріалы изъ Петра Великаго»...

«Лѣтомъ 1873 года Левъ Николаевичъ прекратилъ изученіе этой эпохи. Онъ говорилъ, что мнѣніе его о личности Петра I діаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта сдѣлалось ему несимпатичной. Онъ утверждаетъ, что личность и дѣятельность Петра I не только не заключали въ себѣ ничего великаго, а напротивъ того всѣ качества его были дурныя. Всѣ такъ называемыя реформы его отнюдь не преслѣдовали государственной пользы, а клонились къ личнымъ его выгодамъ.

«Вслѣдствіе нерасположенія къ нему бояръ за его нововведенія, Петръ основалъ городъ Петербургъ только для того, чтобъ удалиться и быть свободнѣе въ своей безнравственной жизни. Сословіе бояръ имѣло тогда большое значеніе и слѣдовательно было для него опасно. Нововведенія и реформы почерпались изъ Саксоніи, гдѣ законы были самые жестокіе того времени, а свобода нравовъ процвѣтала въ высшей степени, что особенно нравилось Петру Первому съ курфюрстомъ Саксонскимъ, принадлежавшимъ къ самымъ безнравственнымъ личностямъ изъ числа коронованныхъ особъ того времени. Близость съ пирожникомъ Меншиковымъ и бѣглымъ швейцарцемъ Лефортомъ онъ объяснялъ презрительнымъ отвращеніемъ къ Петру I всѣхъ бояръ, среди которыхъ онъ не могъ найти себѣ друзей и товарищей для разгульной жизни. Но болѣе всего онъ возмущался гибелью царевича Алексѣя».

«Одинаково неудачна была попытка написать романъ изъ эпохи Декабристовъ. Толстой два раза принимался за него, съ

двѣнадцатилѣтнимъ промежуткомъ, но дальше 4-ой главы не пошелъ.

«Декабрьскій бунтъ онъ изучалъ при лучшихъ условіяхъ. Онъ пользовался не только тѣмъ, что объ этомъ напечатано, но и множествомъ фамильныхъ записокъ, мемуаровъ и писемъ, которые повѣрялись ему съ условіемъ сохранить семейныя тайны. Зимою 1877—1878 гг. онъ ѣздилъ въ Петербургъ осмотрѣть Петропавловскую крѣпость.

«Въ семейномъ кругу онъ разсказывалъ, что звуковая азбука, существующая въ тѣхъ мѣстахъ заключеній, впервые создана декабристами. Когда имъ запрещались переговоры и такимъ способомъ, они доходили до такого искусства, что дѣлали это на ходу, напр., стуча палочкой о заборы, чего стража не замѣчала. Между тѣмъ Левъ Николаевичъ со слезами на глазахъ разсказывалъ, какъ одинъ декабристъ, заключенный въ крѣпости, упросилъ смѣнявшагося часового купить ему яблоко и далъ послѣднія деньги. Часовой принесъ прелестную корзину фруктовъ и деньги назадъ. Оказалось, что посылалъ это купецъ, когда узналъ о личности заключеннаго. Декабристъ, полковникъ кавалергардскаго полка, Лунинъ, удивлялъ Льва Николаевича своею несокрушимою энергіею и сарказмомъ. Въ одномъ изъ писемъ съ каторги къ своей сестрѣ, находившейся въ Петербургѣ, онъ осмѣялъ назначеніе министромъ графа Киселева. Письмо, разумѣется, шло чрезъ начальство работъ, и содержаніе его сдѣлалось извѣстнымъ въ Петербургѣ. Лунинъ былъ прикованъ къ тачкѣ навсегда. Тѣмъ не менѣе смотритель каторжныхъ работъ, полный маіоръ и нѣмецъ по происхожденію, ежедневно уходилъ съ осмотра работъ, долго смѣясь еще по дорогѣ. Такъ умѣлъ Лунинъ насмѣшить его подъ землею и прикованный къ тачкѣ.

«Но вдругъ Левъ Николаевичъ разочаровался и въ этой эпохѣ. Онъ утверждалъ, что *декабрьскій бунтъ есть результатъ вліянія французской аристократіи,* большая часть которой эмигрировала въ Россію послѣ французской революціи. Она и воспитывала всю русскую аристократію въ качествѣ гувернеровъ. Этимъ объясняется, что многіе изъ декабристовъ были католики. Если *все это было привитое и не создано на чисто русской почвѣ, Левъ Николаевичъ не могъ этому симпатизировать*».

Объ «Аннѣ Карениной», написанной въ тотъ же пятнадцатилѣтній промежутокъ времени, я распространяться не буду, такъ какъ это завело бы меня слишкомъ далеко, и разскажу только маленькій, относящійся къ внѣшней исторіи романа, эпизодъ. Онъ печатался, какъ извѣстно, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и когда дѣло дошло до 8-й части, то Катковъ отказался помѣстить ее въ томъ видѣ, въ какомъ она была ему прислана. Въ этой 8-й части Толстой высказалъ на добровольческое движеніе взглядъ, діаметрально расходившійся съ проповѣдью Рус. Вѣст.», inde ira Каткова. Катковъ предложилъ передѣлать. Толстой пришелъ въ страшное негодованіе за поправки и говорилъ по этому поводу: «какъ смѣетъ журналистъ передѣлывать хотя одно слово въ моихъ произведеніяхъ»... Съ этой поры онъ прервалъ всякія сношенія съ «Русскимъ Вѣстникомъ», и его произведенія стали появляться или прямо отдѣльными изданіями, или въ другихъ журналахъ.

Вернемся однако къ подробностямъ и мелочамъ жизни Толстого. «Война и Миръ» сразу поставила Толстого въ первый рядъ русской литературы, и равными ему по славѣ были только Тургеневъ, Достоевскій, Щедринъ и Островскій. Литературная слава была ему пріятна, и онъ съ удовольствіемъ говорилъ, что «хотя и не заслужилъ генерала отъ артиллеріи, зато сталъ генераломъ отъ литературы». А генераломъ онъ дѣйствительно былъ и есть, и притомъ подлиннымъ, несомнѣннымъ. Это питало его гордость и даже тщеславіе, въ чемъ онъ самъ всегда искренно сознавался. По словамъ Берса, «онъ былъ завзятый аристократъ, и хотя всегда любилъ простой народъ, но еще болѣе любилъ аристократію. Середина между этими сословіями была ему несимпатична. Когда послѣ неудачъ молодости онъ пріобрѣлъ громкую славу писателя, онъ высказывалъ, что эта слава—величайшая радость и большое счастье для него. По его собственнымъ словамъ, въ немъ было пріятное сознаніе того, что онъ—писатель и аристократъ»... Оставляю за г. Берсомъ отвѣтственность за точность передачи мнѣній Толстого; думаю однако, что онъ нѣсколько преувеличилъ дѣло.

Нѣсколько отрывковъ изъ собственныхъ писемъ Толстого къ Фету, помѣщенныхъ во II-омъ томѣ «Воспоминаній» послѣдняго, обрисуютъ намъ какъ нельзя лучше мелочи и не мелочи жизни Толстого почти за 11 лѣтъ.

Отъ 21-го октября 1869 г. «Покупка мною пензенскаго имѣнія разладилась. Шестой томъ (полнаго собранія) я окончательно отдалъ и къ 1-му ноября вѣрно выйдетъ. Для меня те-

перь самое мертвое время: не думаю и не пишу, и чувствую себя пріятно глупымъ.

Отъ 4-го февраля 70 г. «Я очень много читаю Шекспира, Гёте, Пушкина, Гоголя, Мольера—обо всемъ этомъ многое хочется сказать. Я нынѣшній годъ не получаю ни одного журнала и ни одной газеты, и нахожу, что это очень полезно»...

Кстати замѣтить, Толстой вообще не любитъ ни газетъ, ни журналовъ. Когда его спрашиваютъ: «что читать? онъ безъизмѣнно отвѣчаетъ: классиковъ. Къ классикамъ онъ причисляетъ и Пушкина. Пушкина онъ любитъ, но лучшими его произведеніями считаетъ прозаическія, особенно «Капитанскую дочку». Между собой и Пушкинымъ онъ видитъ, между прочимъ, различіе въ томъ, что послѣдній, описывая какую нибудь художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится, будетъ ли она понята читателемъ; онъ же, Толстой, какъ бы пристаетъ къ читателю съ этой подробностью и не оставляетъ ее, пока ясно ея не растолкуетъ. О Гете Толстой писалъ Левенфельду: «Боже правый! Да въ томъ то и заключается недостатокъ Гете, что, думая о прекрасномъ, онъ забываетъ о нравственномъ, а безъ него нельзя». *Нравственный* элементъ Толстой считаетъ необходимой принадлежностью всякаго великаго произведенія. Вотъ его подлинныя слова, обращенныя къ тому же Левенфельду: «Посмотрите, какую громадную роль играетъ нравственный элементъ въ произведеніяхъ всякаго великаго поэта. Недавно одинъ молодой ученый отчетливо показалъ, какъ глубоко былъ проникнутъ Лермонтовъ нравственными идеалами».

Отъ 17-го февраля 70 г. «Всю зиму наслаждаюсь тѣмъ, что лежу, засыпаю и играю въ безикъ, хожу на лыжахъ, на конькахъ бѣгаю и больше все лежу въ постели больной, и лица драмы или комедіи (только-что прочитанныхъ) начинаютъ дѣйствовать и очень хорошо представляютъ».

Отъ 11-го мая 70 г. «Я получилъ ваше письмо, возвращаясь потный съ работъ топоромъ и заступомъ, значитъ за 1000 верстъ всего искусственнаго и въ особенности отъ нашего дѣла. Я только-что отслужилъ недѣлю присяжнымъ, и это было для меня очень интересно и поучительно».

Отъ 2-го октября 70 г. «Я съ утра до ночи учусь по гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Я прочелъ Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нуженъ лексиконъ и немного напряженія. Но какъ я счастливъ, что на меня Богъ наслалъ эту дурь. Во-первыхъ, я наслаждаюсь, во-вторыхъ, убѣдился, что изъ всего истинно прекраснаго и просто прекраснаго, что произвело слово человѣческое,

я до сихъ поръ ничего не зналъ; въ-третьихъ, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виноватъ, и, ей Богу, никогда не буду».

Отъ 10-го іюня 71 г. «Я былъ и есть боленъ, самъ не знаю чѣмъ, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря потому, какъ называть конецъ. Упадокъ силъ и ничего не нужно кромѣ спокойствія, котораго нѣтъ. Жена посылаетъ меня на кумысъ».

Отъ 18-го іюля 71 г. «Самъ не знаю, насколько я нездоровъ, но нехорошо уже то, что принужденъ и не могу не думать о моемъ бокѣ или груди. Я, какъ слѣдуетъ при кумысномъ лѣченьи, съ утра до вечера пьянъ, потѣю и нахожу въ этомъ удовольствіе. Читаю Геродота. Край здѣсь прекрасный, по своему возрасту только что выходящій изъ дѣвственности, по богатству, здоровью и въ особенности неиспорченности народа. Я, какъ всегда, примѣриваюсь, не купить ли имѣніе. Это мнѣ занятіе и лучшій предлогъ для узнанія настоящаго положенія края».

Кумысъ, какъ и первый разъ, поправилъ Толстого, и, возвратившись изъ Самары, онъ вновь открылъ школу и вернулся къ своимъ педагогическимъ занятіямъ. Въ это время онъ написалъ свою знаменитую «Азбуку» и христоматію для дѣтей и народа, куда, по своей обычной привычкѣ, помѣстилъ много автобіографическаго. Здѣсь онъ разсказалъ о своихъ собакахъ Милькѣ и Булькѣ, о томъ, какъ его едва не задралъ медвѣдь на охотѣ и какъ онъ едва не попалъ въ плѣнъ на Кавказѣ. Въ 73-мъ году лѣченье кумысомъ пришлось повторить. Въ Самарской губерніи въ это время свирѣпствовалъ страшный голодъ, оффиціально однако непризнанный. Толстой энергично принялся за дѣло, составилъ подворную опись и результатъ своихъ наблюденій изложилъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Противъ графа Толстого и Каткова губернаторъ конечно не пошелъ и не возражалъ,—пришлось согласиться съ фактомъ и принять мѣры.

Письмо о самарскомъ голодѣ очень интересно, хотя не столько по содержанію, сколько по формѣ. Толстой остается вѣренъ себѣ. Ни одной жалкой, бьющей по нервамъ, фразы, ни одного упрека никому, но факты изложены такъ ярко, что вчужѣ страшно становится. Именно своей простотой, за которой видно глубокое впечатлѣніе, полученное авторомъ отъ нечеловѣческихъ страданій несчастныхъ башкиръ, письмо должно было произвести потрясающее впечатлѣніе. Пожертвованія посыпались, и въ данномъ случаѣ несомнѣнно, что одинъ Толстой, самъ, своимъ собственнымъ вліяніемъ, спасъ отъ голодной смерти сотни и тысячи людей. До него молчали всѣ;

власти докладывали, что все благополучно и «На Шипкѣ», какъ всегда, «все было спокойно».

Въ 73-мъ году была начата «Анна Каренина»,—романъ, заключающій въ себѣ собственно два отдѣльныхъ произведенія: исторію любви Карениной и исторію духовнаго возрожденія Левина. Оба произведенія рѣшительно ничѣмъ между собой не связаны. Левину Толстой придалъ много чертъ и черточекъ личнаго своего характера. Кое какими подробностями исторія любви Левина напоминаетъ исторію самого Толстого, напр. сцена объясненія любви, препятствія къ браку, радости семейной жизни. Въ нижеслѣдующихъ письмахъ самого Толстого, взятыхъ изъ тѣхъ же воспоминаній Фета, читатель найдетъ нѣсколько подробностей о созданіи романа.

Вотъ эти письма:

24-го марта 74 г. «Вы хвалите Каренину. Мнѣ очень пріятно, да и какъ я слышу, ее хвалятъ, но навѣрно никогда не было писателя, столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я. Съ одной стороны школьныя дѣла, съ другой—страшное дѣло—сюжетъ новаго писанія, овладѣвшій мною именно въ самое тяжелое время болѣзни ребенка, и самая эта болѣзнь и смерть!»

24-го іюня 74 г. «Смерть тетушки, какъ и всегда смерть близкаго дорогого человѣка, была совершенно новымъ, единственнымъ и неожиданнымъ поразительнымъ событіемъ. Чудесная жара, купанье, ягоды привели меня въ любимое мною состояніе умственной праздности, и только настолько и остается духовной жизни, чтобы помнить друзей и думать о нихъ».

26-го августа 75 года. «Я два мѣсяца не пачкалъ рукъ чернилами и сердца мыслями. Теперь берусь за скучную и пошлую А. Каренину съ однимъ желаніемъ: поскорѣй опростать себѣ мѣсто—досугъ для другихъ занятій, но только не педагогическихъ, которыя я люблю, но хочу бросить. Они слишкомъ много времени берутъ. Къ чему занесла меня судьба въ Самару—не знаю, но знаю, что я слушалъ рѣчи въ англійскомъ парламентѣ (вѣдь это считается очень важнымъ) и мнѣ скучно было и ничтожно было. А здѣсь вотъ мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я съ напряженнымъ вниманіемъ, страхомъ вслушиваюсь (въ ихъ рѣчи) и чувствую, что все это очень важно».

1-го марта 76 года. «У насъ все не совсѣмъ хорошо. Жена не оправляется съ послѣдней болѣзни, и нѣтъ у насъ въ домѣ благополучія и во мнѣ душевнаго спокойствія, которое мнѣ особенно нужно теперь для работы. Конецъ зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоѣвшій мнѣ романъ».

29-го апрѣля 76 года. «У насъ началась весенняя и лѣтняя жизнь и полонъ домъ гостей и суеты. Эта лѣтняя жизнь для меня точно какъ сонъ; кое-что остается изъ моей реальной зимней жизни, но больше какія-то видѣнія, то пріятныя, то непріятныя, изъ какого-то безтолковаго, не руководимаго здравымъ разсудкомъ міра».

18-го мая 76 года. «То чувствуешь себя богомъ, что нѣтъ для тебя ничего сокрытаго, а то глупѣе лошади, и теперь я такой».

13-го ноября 76 года. «Я ѣздилъ въ Москву узнавать про войну. Все это волнуетъ меня очень. Хорошо тѣмъ, которымъ все это ясно, но мнѣ страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тѣхъ условій, при которыхъ совершается исторія,—какъ дама какая-нибудь А-ва съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ къ чему-то неопредѣленному — оказывается нужнымъ винтикомъ во всей машинѣ».

«Сплю и не могу писать; презираю себя за праздность и не позволяю себѣ взяться за другое дѣло».

7-го декабря 76 года. «Я понемногу началъ писать и очень доволенъ собой».

23-го марта 77 года. «Голова моя лучше теперь, и насколько она лучше, настолько я больше работаю. Мартъ и начало апрѣля самые мои рабочіе мѣсяца, а я все продолжаю быть въ заблужденіи, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что черезъ мѣсяцъ мнѣ будетъ совѣстно это вспоминать».

14-го апрѣля 77 года. «Вы въ первый разъ говорите мнѣ о божествѣ—о Богѣ. А я давно уже, не переставая, думаю объ этой главной задачѣ. И не говорите, что нельзя думать, — не только можно, но должно. Во всѣ вѣка лучшіе, т. е. настоящіе, люди думали объ этомъ. И если мы не можемъ такъ-же, какъ они, думать объ этомъ, то мы обязаны найти *какъ*».

6-го апрѣля 78 года. «У Васъ такъ много привязанности къ житейскому, что если какъ-нибудь оборвется это житейское, Вамъ будетъ плохо; а у меня такое къ нему равнодушіе, что нѣтъ интереса къ жизни, и я тяжелъ для другихъ однимъ вѣчнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Не думайте, что я рехнулся. А такъ—не въ духѣ».

26 октября 78 года. «Вотъ уже съ мѣсяцъ, коли не больше, я живу въ чаду не внѣшнихъ событій (напротивъ, мы живемъ одиноко и смирно), но внутреннихъ, которыхъ назвать не умѣю. Хожу на охоту, читаю, отвѣчаю на вопросы, которые мнѣ дѣлаютъ, ѣмъ, сплю, но ничего не могу дѣлать, даже написать письмо. Обычная земная жизнь, со все усложняющимся воспо-

минаніемъ и ученіемъ дѣтей, идетъ какъ и прежде. Мы опять заняты самыми ясными, опредѣленными дѣлами, а я самыми неопредѣленными и потому постоянно имѣю стыдливое сознаніе праздности среди трудовой жизни».

16 февраля 79 г. «Я не боленъ, не здоровъ, но умственной и душевной бодрости, которая мнѣ нужна,—нѣтъ».

25 мая 79 г. «Давно я такъ не радовался на міръ божій, какъ нынѣшній годъ. Стою, разиня ротъ, любуюсь и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего».

13 іюля 79 г. «Все мотаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь и думаю, не доведется ли мнѣ заполнить пробѣлы, да и умереть, а все не могу не разворачивать самого себя».

Отъ 28 іюня 1879 г. «Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимаго для поддержанія этой жизни; но мнѣ кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетвореніями не естественныхъ, а искусственно привитыхъ намъ воспоминаніемъ и самими нами придуманныхъ и перешедшихъ въ привычку потребностей, — праздный трудъ. Мнѣ бы очень хотѣлось быть твердо увѣреннымъ въ томъ, что я даю людямъ больше того, что получаю отъ нихъ; но такъ какъ я чувствую себя очень склоннымъ къ тому, чтобы высоко цѣнить свой трудъ и низко цѣнить чужой, то я не надѣюсь увѣриться въ безобидности для другихъ разсчета со мной однимъ усиленіемъ своего труда и избраніемъ тяжелѣйшаго (я непремѣнно увѣрю себя, что любимый мною трудъ есть самый нужный и трудный); я желалъ-бы какъ можно меньше брать отъ другихъ и какъ можно меньше трудиться для удовлетворенія своихъ потребностей,—и думаю, такъ легче не ошибиться».

XI.

О пессимизмѣ и руссофильствѣ гр. Толстого.

Въ послѣднихъ изъ только-что приведенныхъ писемъ нельзя не замѣтить приближенія кризиса. Толстой говоритъ, что онъ, здоровый человѣкъ, постоянно думаетъ о смерти, а всякому извѣстно, что дѣйствительно здоровые люди не только не думаютъ о смерти, но считаютъ себя безсмертными, или, точнѣе, поступаютъ и живутъ такъ, какъ будто они были безсмертны. Въ то же время онъ не перестаетъ думать о Богѣ — этой главной задачѣ жизни. Ему ста-

новится подозрительной привязанность къ житейскому и онъ предостерегаетъ отъ нея Фета. Бодрость исчезла; расположеніе духа постоянно нехорошо, тревожно. Къ чему стремиться? зачѣмъ стремиться? Онъ желаетъ какъ можно меньше работать для удовлетворенія личныхъ своихъ потребностей, чтобы не заставлять другихъ служить себѣ. Программа близкаго кризиса уже изложена въ этихъ тревожныхъ и безпокойныхъ мысляхъ. Прежній скептицизмъ, обращенный на себя и все окружающее, возвращается съ удвоенной, накопленной силой, и мы предчувствуемъ, что уже ничто теперь не устоитъ противъ него. Обидныя и преступныя противорѣчія жизни выступаютъ ярко, рѣзко, неумолимо. Какъ это люди, одушевленные, допустимъ, самыми благородными и возвышенными идеями освобожденія и спасенія ближнихъ—въ данномъ случаѣ братьевъ-славянъ—могутъ идти убивать другихъ такихъ же людей, гордиться своими кровавыми подвигами и принимать рукоплесканія... за что? за убійство?.. А тутъ еще всякія мелочи въ родѣ какой-то А—вой, которая «съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ чему-то неопредѣленному»—суетится и хлопочетъ, гордо задираетъ голову, жужжитъ, какъ надоѣдливая муха, о страданіяхъ братьевъ-славянъ, о корпіи, кисетикахъ и трубочкахъ, а когда нахмуренное лицо слушателя говоритъ ей довольно ясно: «отстаньте, сдѣлайте милость», она съ убійственной язвительностью спрашиваетъ: «а, вы, значитъ, не сочувствуете братьямъ-славянамъ?..» «а, значитъ, освободительное движеніе для васъ ничего?»—и пойдетъ, пойдетъ, какъ нѣкогда madame Кукшина, бесѣдуя съ которой Базаровъ не могъ удержаться и не проговорить «тьфу, дура!» Конечно, всѣ эти А—вы, Кукшины, занятыя сегодня куреніемъ табаку во имя эмансипаціи женщинъ, завтра щипаніемъ корпія во имя освободительнаго движенія братьевъ-славянъ, послѣ завтра продажей шампанскаго въ пользу голодающихъ или собираніемъ грошей на сестринскій подарокъ г-жѣ Аданъ и «la grande république française»—мелочь. Но онѣ безчисленны, онѣ жужжатъ какъ мухи, надоѣдаютъ, злятъ своимъ тщеславіемъ, самодовольствомъ, тупостью, билетами на благотворительные вечера и пр. Скучно и глупо, а вѣдь имя А—выхъ легіонъ, ихъ много.

Но прежде чѣмъ описывать кризисъ, я позволю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе и поговорить о пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого.

Любопытно прежде всего, что при отрицаніи роли героевъ въ исторіи и низведеніи всего хода событій къ массовому началу Тол-

стой постоянно говоритъ и повторяетъ, что это *русская* точка зрѣнія. «Русскій умъ — читаемъ мы напр. — отказывается признать героя, который бы могъ управлять людьми, создавать событія». Въ характеристикѣ Кутузова мы встрѣчаемся съ тою-же мыслью, хотя и не такъ еще рѣзко выраженной: «Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься въ ту *лживую форму европейскаго героя,* мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія». Я прошу читателя припомнить теперь ту характеристику, которую даетъ Толстой Наполеону и Кутузову. Собственно, это не характеристика, а противопоставленіе. То, что есть у Наполеона, непремѣнно отсутствуетъ у Кутузова. Наполеонъ проникнутъ сознаніемъ собственнаго величія; онъ самонадѣянъ, онъ знаетъ, что каждый его шагъ и слово принадлежатъ исторіи, и постоянно красуется, постоянно взвѣшиваетъ, что сказать, что сдѣлать; онъ убѣжденъ, что отъ него, отъ его генія зависитъ выиграть сраженіе, передвинуть многомилліонныя массы людей съ запада на востокъ или съ востока на западъ. Въ Кутузовѣ ничего этого нѣтъ. Тщеславіе, самомнѣніе, гордость, преувеличенное сознаніе собственной силы — это западный герой; простота, скромность, смиреніе — героизмъ русскій. Къ этимъ основнымъ чертамъ русскаго характера Толстой возвращается постоянно. О Пьерѣ Безуховѣ онъ говоритъ, напр.: «Два одинаково сильныя чувства неотразимо привлекли Пьера къ исполненію его намѣренія... Первое... другое было то *неопредѣленное, исключительно русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному, человѣческому* — ко всему тому, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра...» Въ чемъ-же выражается это неопредѣленное, исключительно русское чувство? «Это то чувство, говоритъ Толстой, вслѣдствіе котораго охотникъ-рекрутъ пропиваетъ послѣднюю копѣйку, запившій человѣкъ перебиваетъ зеркала и стекла безъ всякой видимой причины и зная, что это будетъ стоить ему его послѣднихъ денегъ—то чувство, вслѣдствіе котораго человѣкъ, совершая (въ пошломъ смыслѣ) безумныя дѣла, какъ-бы пробуетъ свою личную власть и силу, заявляя присутствіе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью...» («Война и Миръ» т. III, стр. 500—501). Нельзя сказать, чтобы все это было особенно лестно. Графъ Толстой однако не останавливается на этомъ и, давая характеристику различнымъ народностямъ, говоритъ: «Нѣмцы бываютъ самоувѣренными на основаніи отвлеченной идеи—науки, т. е. мнимаго знанія совершенной истины. Французъ бываетъ самоувѣренъ потому, что онъ почитаетъ

себя лично, какъ умомъ, такъ и тѣломъ, непреодолимо обворожительнымъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Англичанинъ самоувѣренъ на томъ основаніи, что онъ—гражданинъ благоустроеннѣйшаго государства въ мірѣ, и потому, какъ англичанинъ, знаетъ всегда, что ему дѣлать нужно, и знаетъ, что все, что онъ дѣлаетъ, какъ англичанинъ, несомнѣнно хорошо. Итальянецъ самоувѣренъ потому, что онъ взволнованъ и забываетъ легко себя и другихъ. *Русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что не вѣритъ, чтобы можно было вполнѣ знать что-нибудь.* Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ и тверже всѣхъ, и противнѣе всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину, науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина».

Опять-таки не лестно быть самоувѣреннымъ потому, что я ничего не знаю и знать ничего не хочу. А между тѣмъ несомнѣнно, что русскій характеръ и нелестныя (для меня напр.) черты этого характера прямо симпатичны графу Толстому. Г-нъ Ціонъ не безъ основанія увѣряетъ даже, что не-русскаго человѣка Толстой и изобразить не можетъ иначе, какъ со злобой и сарказмомъ (Наполеонъ), съ ироніей и презрѣніемъ (Рамбаль, m-elle Бурьенъ). Въ французѣ Толстой видитъ только фразера, кривляку и хвастуна, хотя и очень добродушнаго; француженка—интриганка, произносящая съ закатомъ глазъ: «ma mère, ma pauvre mère»...

Отчасти Ціонъ правъ. Всѣ типы иностранцевъ или русскихъ, зараженныхъ иностраннымъ вліяніемъ, у Толстого отрицательны. Пьеръ Безуховъ становится настоящимъ хорошимъ человѣкомъ только сблизившись съ «ними», съ массой, и отдѣлавшись отъ заразы западнаго индивидуализма и западной вѣры въ разумъ. Самъ Толстой разочаровался въ европейцахъ за ихъ «западный духъ»...

На «эта неспособность судить обо всемъ, что иностранное, происходитъ, по мнѣнію Ціона, не отъ незнанія, не отъ преднамѣренной враждебности», а отъ извѣстнаго склада ума, пожалуй, структуры мозга, которая мѣшаетъ Толстому проникать въ геній другого народа, кромѣ русскаго.

По мнѣнію того-же Ціона, Толстой нисколько не питаетъ ненависти къ европейскимъ народамъ и не испытываетъ слѣпого удивленія ко всему русскому. Слишкомъ ясновидящій, чтобы не замѣчать недостатковъ своихъ соотечественниковъ, онъ въ то же время слишкомъ искренній, чтобы не указывать на нихъ. Въ ряду многочисленныхъ національныхъ типовъ, разсѣянныхъ въ его романахъ,

лишь очень немногіе внушаютъ къ себѣ симпатію... Его картины русскаго общества суть сатиры, и тѣмъ болѣе жестокія, что тутъ уже одно сходство составляетъ горечь и что къ нимъ не примѣшивается задней мысли о томъ, что авторъ чернитъ намѣренно.

Все это какъ нельзя болѣе справедливо; несомнѣнно однако, что во время созданія «Войны и Мира» русскія симпатіи Толстого были энергичны и почти не допускали сомнѣній. Его преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа заставило его преклониться и передъ русскимъ характеромъ... Платонъ Каратаевъ обрисованъ съ такой старательностью, такою любовью, какъ ни одно лицо въ романѣ, и сердце автора несомнѣнно на его сторонѣ...

Что-же особенно нравится Толстому въ русскомъ человѣкѣ? Прежде всего признаніе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій, суда надъ жизнью; а потомъ какой-то странный жизнерадостный пессимизмъ.

Этотъ высшій, стоящій внѣ человѣческихъ условій судъ надъ жизнью иллюстрируется и разсказомъ Каратаева о купцѣ, несправедливо сосланномъ на вѣчныя каторжныя работы, и исторіей Пьера Безухова.

Въ разсказѣ Каратаева о купцѣ истина наконецъ открывается: «списали... послали бумагу, какъ слѣдоваетъ... Мѣсто дальнее, пока судъ да дѣло, пока всѣ бумаги списали какъ должно, по начальствамъ значитъ... До царя доходило. Пока что, пришелъ царскій указъ: вынустить купца, дать ему награжденья, сколько тамъ присудили; пришла бумага, стали старичка разыскивать... Гдѣ такой старичокъ, безвинно напрасно страдалъ? Отъ царя бумага вышла... Стали искать. — (Нижняя челюсть Каратаева вздрогнула). — А его ужъ Богъ простилъ, померъ... Такъ-то, соколикъ!—закончилъ Каратаевъ и долго, молча улыбаясь, смотрѣлъ передъ собой».

Есть значитъ высшій судъ надъ жизнью?..—Да, есть;—отвѣчаетъ Пьеръ Безуховъ въ минуту прозрѣнія, въ плѣну, въ грязи, въ униженіи.

«—Ха, ха, ха! смѣялся Пьеръ... И онъ проговорилъ вслухъ самъ съ собою:—Не пустилъ меня солдатъ... Поймали меня, заперли меня. Въ плѣну держатъ меня. Кого меня? Меня? Мою безсмертную душу! Ха, ха, ха!.. ха... ха... ха!..—смѣялся онъ съ выступавшими на глаза слезами. Онъ оглянулся вокругъ себя... Прежде громко шумѣвшій трескомъ костровъ и говоромъ людей, огромный бивакъ засыпалъ; красные огни костровъ потухали и блѣднѣли. Высоко въ свѣтломъ небѣ искрились звѣзды. Пьеръ взглянулъ въ небо, въ глубь

уходящихъ, играющихъ звѣздъ. «И все это мое, и все это во мнѣ, и все это я! думалъ Пьеръ.. И все это они поймали и посадили въ балаганъ, загороженный досками...» Онъ улыбнулся и пошелъ укладываться спать къ своимъ товарищамъ...»

Вотъ онъ судъ земной, «загораживающій досками безсмертную душу человѣческую!..»

И рядомъ съ этимъ какой-то странный «жизнерадостный» пессимизмъ. Платонъ Каратаевъ—(а ему, кстати замѣтить, мы придаемъ *не меньшее* значеніе, чѣмъ придавалъ ему Толстой, сдѣлавъ его руководителемъ всей обновленной жизни главнаго героя романа—Безухова)—всегда веселъ, доволенъ, дѣятеленъ, всегда хлопочетъ, разговариваетъ, а между тѣмъ: «такъ-то, другъ мой любезный, говоритъ онъ... Рокъ головы ищетъ. А мы все судимъ: то не хорошо, да то не ладно... *Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ:* тянешь—надулось, а вытащишь—ничего нѣтъ». Припомните и опредѣленіе русской самоувѣренности; изреченію Каратаева позавидовалъ бы самъ Будда. Если дѣйствительно наше счастье—вода въ бреднѣ, то зачѣмъ же жить? а Каратаевъ хотя и зоветъ смерть Божьимъ прощеніемъ, думаетъ и о новыхъ важнѣющихъ портянкахъ и одерживаетъ бородинскія побѣды. Онъ даже веселъ, не напускной тщеславной веселостью преступника передъ казнью, а веселъ просто, органически, какъ хлопотливая ласточка...

Въ народныхъ типахъ Толстого неумолкаемо звучитъ пессимистическая и фаталистическая—(рокъ головы ищетъ)—струна. Та же струна слышна на каждой страницѣ «Войны и Мира», не смотря на все патріотическое и поразительное одушевленіе, съ какимъ написанъ романъ... Откуда это? Ціонъ написалъ по этому поводу положительно интересное изслѣдованіе, съ выводами котораго я сейчасъ познакомлю читателя... «Отсутствіе стойкости, недостатокъ индивидуальной выдержки—такія черты характера не трудно обнаружить у большинства русскихъ. Возгараясь непомѣрнымъ энтузіазмомъ ко всякому начинанію, русскій человѣкъ скоро охладѣваетъ; встрѣчающіяся трудности, особливо если онѣ непредвидѣнныя и раздражающія, не замедлятъ охладить его пылъ. Вскорѣ онъ начинаетъ удивляться, что взялся за дѣло съ такою рьяностью». Этотъ недостатокъ выдержки дѣлаетъ уже человѣка склоннымъ къ пессимизму. «Въ русскомъ, продолжаетъ Ціонъ, слишкомъ значительна доза восточной крови, чтобы не отрѣшаться отъ индивидуализма. Но, напротивъ, тѣмъ, что называютъ табуннымъ началомъ, онъ обладаетъ въ весьма сильной степени. Въ положеніи изолирован-

номъ русскому не хватаетъ твердости, онъ отходитъ въ сторону и уступаетъ легко. Но ничто не способно его заставить обратиться вспять, разъ что онъ чувствуетъ себя съ толпой. На міру и смерть красна».

Итакъ, по мнѣнію Ціона, становясь на точку зрѣнія своей націи, Толстой совершенно правъ, придавая мало значенія усиліямъ индивидуальной воли и, напротивъ, считая коллективную волю главнымъ двигателемъ.

Гдѣ же источники пессимистической окраски этой системы и этого міровоззрѣнія?.. Если физіологъ можетъ объяснять источникъ пессимистическаго настроенія нѣкоторыхъ философовъ условіями ихъ личной жизни (напр. слѣпота Дюринга, параличъ Гартмана и т. д.), то въ отношеніи Толстого сдѣлать это не легко. Ни природа, ни общество не были мачихами великаго писателя... Какъ разъ напротивъ. «Родовитость, значительное состояніе, наилучшія связи въ свѣтѣ, любящая и любимая семья, несравненные литературные успѣхи, небывалая слава, здоровье крѣпкое и цвѣтущее, обширныя познанія, пріобрѣтенныя безъ большихъ усилій—все это дано Толстому, какъ никому,—а онъ стыдится своихъ чудныхъ твореній, называетъ книгопечатаніе гибельнымъ изобрѣтеніемъ. Не странно ли все это?»

Ціонъ разлагаетъ пессимизмъ графа Толстого на два элемента: племенной и личный. Не разъ было замѣчено, что какая-то печальная нотка преобладаетъ у всѣхъ безъ исключенія русскихъ поэтовъ, романистовъ, художниковъ, музыкантовъ. Поэты впадаютъ въ элегическій тонъ, романисты становятся реалистами и потому меланхоличными, какъ сама русская жизнь. Эта грустная нотка обязана воздѣйствію всей массы многообразныхъ условій русской дѣйствительности, начиная отъ суроваго климата, болѣзненной впечатлительности славянской натуры и кончая апатіей, порождаемой органическимъ убѣжденіемъ, что всякое доброе начинаніе должно роковымъ образомъ остаться безплоднымъ. Русскій человѣкъ какъ бы подавленъ грустными впечатлѣніями своей среды. Даже у такихъ юмористовъ, какъ Гоголь и Щедринъ, постоянно пробивается наружу меланхолическое настроеніе.

Таковъ племенной источникъ пессимизма, который можно назвать *подавленностью* личности. Личный-же элементъ заключается, по мнѣнію Ціона, въ томъ, что, вступивъ въ свѣтъ, Толстой, какъ глубокій и проницательный психологъ, долженъ былъ сдѣлать неутѣшительныя наблюденія надъ дѣйствительностью. Чѣмъ ближе

знакомился онъ съ какимъ нибудь кружкомъ общества, тѣмъ непріятнѣе были его впечатлѣнія. Полной гармоніи жизни, которой требовала его душа, онъ не встрѣчалъ нигдѣ, да ея и нѣтъ на свѣтѣ. Такимъ образомъ Толстой сталъ жертвою своей несравненной проницательности, своего удивительнаго дара наблюденія. Съ юныхъ лѣтъ онъ уже смотритъ разочарованнымъ, получаетъ отвращеніе къ обществу и жизни. Не питая того благодушнаго презрѣнія, которое «спасаетъ отъ меланхоліи иныхъ разочарованныхъ людей, онъ отдается пессимизму»...

Я бы хотѣлъ отмѣтить и еще одинъ элементъ пессимизма Толстого—его пресыщеніе жизнью, отчасти по наслѣдству полученное, отчасти благопріобрѣтенное. Впрочемъ самъ Ціонъ намекаетъ на это, говоря:

«Толстой творитъ легко. Чувствуется при чтеніи его произведеній, что образцовыя страницы въ нихъ вышли изъ головы писателя во всей своей красѣ, совершенно законченными, и не нуждаются ни въ какой ретуши. Къ столь счастливому дару присоединяется рѣдкое счастье съ самаго начала своихъ литературныхъ дебютовъ быть понятымъ, оцѣненнымъ и выдвинутымъ на видное мѣсто... Толстого осыпаютъ похвалами, лестными отзывами. Какое же вліяніе долженъ имѣть на него этотъ успѣхъ?

„Исповѣдь“ повѣствуетъ объ этомъ откровенно и съ безусловной искренностью. Онъ презираетъ критику и своихъ читателей именно за то удивленіе, какимъ его награждаютъ, и онъ не безъ презрѣнія относится къ своимъ твореніямъ. Не измѣняя своей прямотѣ, своей честности, онъ приходитъ къ мысли, что онъ крадетъ деньги у публики, что его состояніе пріобрѣтено безчестно, что онъ—лишній тунеядецъ, подобно прочимъ своимъ современникамъ. Съ непреклонною логикою, свойственной его расѣ, онъ весьма скоро убѣждается, что ручной трудъ—единственно честный, единственно достойный человѣка, и, рѣшившись „идти въ народъ“, нашъ писатель одѣвается „мужикомъ“ и идетъ работать на поле».

Развѣ не это-же пресыщеніе, вызванное милліонами, праздной, легкой жизнью, праздной красавицей женой, заставило Пьера Безухова восчувствовать особенную прелесть голода, холода, жажды и вшей... даже вшей?... Излишекъ радости и излишекъ страданій всегда влекутъ къ недовольству и отвращенію отъ жизни.

Но какъ бы мы ни разлагали настроеніе Толстого, мы никогда не должны забывать, что наша жизнь сшита не по мѣркѣ великихъ

людей. Тоска, грусть и отчаяніе почти неизбѣжны для слишкомъ богато одаренной натуры... «Вѣдь сердце поэта, говоритъ Гейне,— центръ міра, какъ же не быть ему въ настоящее время разорваннымъ?»

XII.

Кризисъ.

Мнѣ думается, что предыдущія главы должны были подготовить читателя къ наступленію кризиса въ душѣ Толстого, такъ какъ кризисъ этотъ никогда въ сущности не прекращался. Сомнѣнія и муки таились все время и наконецъ съ невѣроятной силой вырвались наружу. Случилось то же, что случается передъ нами на каждомъ пожарѣ: огонь сначала таится внутри зданія, языки пламени медленно переходятъ съ одного предмета на другой, лишь изрѣдка вырываясь сквозь окна или бросая на нихъ красное зарево. Но огонь окрѣпъ, пробрался сквозь крышу на свѣжій воздухъ, и вдругъ зданіе вспыхиваетъ, какъ свѣча...

Что было ближайшимъ поводомъ кризиса—опредѣлить трудно. Да и нужно-ли искать этихъ ближайшихъ поводовъ? Они важны въ юности, важны для человѣка съ обыденнымъ умомъ, живущаго въ пріятной дремотѣ,—этому нуженъ толчокъ, встряска. Но Толстому въ описываемое время, т. е. во второй половинѣ 70-хъ годовъ, было уже около 56-ти лѣтъ, въ пріятной дремотѣ онъ не находился никогда. Его умъ работалъ неустанно. Когда корни растенія подкопаны, но остался еще одинъ тоненькій корешокъ, оно, хотя бы чахлое, все еще продолжаетъ жить; но вотъ и этотъ корешокъ перерѣзанъ, и растеніе умираетъ. Подъ свои вѣрованія Толстой подкапывался всю жизнь, а въ какую минуту перерѣзалъ онъ послѣдній корешокъ—сказать нельзя. Онъ постоянно висѣлъ надъ пропастью отрицанія, висѣлъ, держась за чахлый кустикъ, основу котораго грызли мыши. Рано или поздно кустикъ долженъ былъ оборваться, а человѣкъ слетѣть въ пропасть. Это собственное сравненіе Толстого. Въ «Исповѣди» онъ разсказываетъ о путникѣ, застигнутомъ въ пути разъяреннымъ звѣремъ. Спасаясь отъ звѣря, путникъ вскакиваетъ въ безводный колодезь. Но—увы—на днѣ колодца лежитъ драконъ съ разинутой пастью. Путникъ ухватывается за вѣтви растущаго въ расщелинѣ куста. Но кустъ рано или поздно долженъ

оборваться, потому что двѣ мыши, черная и бѣлая, подтачиваютъ его стволъ съ разныхъ сторонъ. Путникъ видитъ это, понимаетъ, что онъ долженъ съ минуты на минуту упасть внизъ и погибнуть, и, видя и понимая все это, лижетъ засохшимъ языкомъ капли меда—на листьяхъ куста.

Разъяренный звѣрь пустыни и драконъ—это смерть. Мыши—время, кустъ—жизнь... Капли меда—радости жизни... Пока есть медъ—есть и силы, и смыслъ, и призраки счастья...

«Такъ я жилъ,—разсказываетъ Толстой о періодѣ своего «семейнаго счастья»,—но пять лѣтъ назадъ (1876 г.) со мною стало случаться что-то странное: на меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что мнѣ дѣлать, и я терялся и впадалъ въ уныніе.

Но это проходило, и опять я продолжалъ жить по прежнему. Потомъ эти минуты недоумѣнія стали повторяться чаще и все въ той же самой формѣ. Эти остановки жизни выражались всегда одинакими вопросами: зачѣмъ?... ну, а потомъ?... Сначала мнѣ казалось, что это такъ себѣ, безцѣльные, неумѣстные вопросы. Мнѣ казалось, что все это извѣстно, и что если я захочу заняться ихъ разрѣшеніемъ, то это не будетъ стоить мнѣ никакого труда, что теперь мнѣ некогда только этимъ заниматься, а когда вздумаю, тогда и отвѣты найду. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнѣе и настоятельнѣе требовались отвѣты, и какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились эти вопросы безъ отвѣтовъ въ одно черное пятно. Я нашелъ, что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важное; и что если повторяются всѣ тѣ же вопросы, то надо отвѣтить на нихъ. Но только-что я тронулъ ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, я тотчасъ-же убѣдился, что эти вопросы—самые глубокіе и важные въ жизни вопросы, и что сколько-бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ книги, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю—зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать.

Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тысячъ десятинъ, 300 головъ лошадей, а потомъ?... И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ я воспитаю дѣтей, я говорилъ себѣ: зачѣмъ?... Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славѣ, которую пріобрѣтутъ мнѣ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну хорошо,

ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—ну, и чтожъ?» И я ничего, ничего не могъ отвѣтить.

Остановилась тогда моя жизнь. Я могъ дышать, ѣсть, пить, спать, и не могъ не дышать, не ѣсть, не спать, но жизни не было, потому что не было такихъ желаній, удовлетвореніе которыхъ я находилъ бы разумнымъ. Если я желалъ чего, я впередъ зналъ, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желаніе—изъ этого ничего не выйдетъ. Если есть у меня не желанія, но привычки желаній прежнихъ, въ трезвыя минуты я знаю, что это—обманъ, что желать нечего. Какая-то непреодолимая сила влекла меня къ тому, чтобы какъ нибудь избавиться отъ жизни. Мысль о самоубійствѣ была такъ соблазнительна, что я долженъ былъ употреблять противъ нея хитрости, чтобы не привести ее слишкомъ скоро въ исполненіе. Я не хотѣлъ торопиться только потому, что хотѣлось употребить всѣ усилія, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успѣю, говорилъ я себѣ... И это сдѣлалось со мною тогда, когда я былъ совершенно счастливъ—все у меня было: семья прекрасная, средства большія и все возраставшія, слава, уваженіе ближнихъ, здоровье, сила тѣлесная и душевная, кажется, все...

Я уже ничему въ жизни не могъ придать никакого разумнаго смысла. Все это такъ давно всѣмъ извѣстно. Не нынче, завтра придутъ болѣзни и смерть на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется, кромѣ смрада и червей. Дѣла мои, какія-бы они ни были, забудутся всѣ раньше или позже—это все равно. И главное—меня не будетъ. Такъ изъ чего же хлопотать? Прежній обманъ радостей житейскихъ, заглушавшій ужасъ смерти, уже не обманывалъ меня. Сколько ни говорили мнѣ: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи,—я не могъ уже этого дѣлать, потому что слишкомъ долго дѣлалъ это прежде. Теперь я не могъ не видѣть дня и ночи, бѣгущихъ и ведущихъ меня къ смерти...

Тѣ двѣ капли меда, которыя дольше другихъ отводили мнѣ глаза отъ жестокой истины,—любовь къ семьѣ и къ писательству, которое я называлъ искусствомъ,—уже стали несладки мнѣ. Семья?—говорилъ я себѣ,—но семья—жена, дѣти,—они тоже люди. Они тоже должны или жить во лжи, или видѣть ужасную истину. Зачѣмъ же мнѣ жить? Зачѣмъ мнѣ любить ихъ, беречь, растить... и блюсти ихъ?—говорилъ Левинъ, рыдая.—Для того-же отчаянія, которое во мнѣ, или тупоумія? Любя ихъ, я не могу скрывать отъ нихъ истины, всякій шагъ въ познаніи приведетъ ихъ къ истинѣ. А истина—смерть... Искусство, поэзія? Долго подъ вліяніемъ успѣха, похвалы люд-

ской я увѣрялъ себя, что смерть, которая уничтожитъ и дѣла мои, и память о нихъ,—ничтожна. Но скоро я увидѣлъ, что и это обманъ. Мнѣ ясно было, что искусство есть украшеніе жизни, заманка къ ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость,—какъ же я могу заманивать другихъ? Пока я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ, хоть я и не умѣю выразить его,—отраженіе жизни въ искусствѣ доставляло мнѣ радость, мнѣ весело было смотрѣть на жизнь въ это зеркальце искусства. Но когда я сталъ отыскивать смыслъ жизни, зеркальце это стало мнѣ или мучительно, или ничтожно...

Зеркальце теперь говорило, что положеніе мое отчаянно и глупо; этимъ я не могъ утѣшаться. Хорошо мнѣ было любоваться его отраженіями, когда я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ. Тогда эта игра свѣтовъ—комическаго, трагическаго, трогательнаго, прекраснаго, ужаснаго въ жизни потѣшала меня. Но когда я узналъ, что жизнь безсмысленна и ужасна, игра въ зеркальцѣ не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если эта истина всегда была мнѣ извѣстна, я бы могъ быть спокойнымъ, зная, что это мой удѣлъ. Если бы я былъ, какъ человѣкъ, отъ рожденія безвыходно живущій въ лѣсу, изъ котораго онъ знаетъ, что выхода нѣтъ, я бы могъ жить.

Но я былъ какъ человѣкъ, заблудившійся въ лѣсу, на котораго нашелъ ужасъ отъ того, что онъ заблудился, и онъ мечется, желая выбраться на дорогу; знаетъ, что всякій шагъ еще больше путаетъ его, и не можетъ не метаться. Это было ужаснѣе всего... И чтобы избавиться отъ этого ужаса, я хотѣлъ убить себя. Я испытывалъ ужасъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ меня, зналъ, что этотъ ужасъ ужаснѣе самаго положенія, но не могъ терпѣливо ждать конца. Какъ ни убѣдительно было разсужденіе о томъ, что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ или лопнетъ что-нибудь, и все кончится,—я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужасъ тьмы былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣй, поскорѣй избавиться отъ него петлей или пулей. И вотъ это-то чувство сильнѣе всего влекло меня къ самоубійству"...

Толстой по обыкновенной своей привычкѣ, разъ дѣло касается личной его жизни, говоритъ слишкомъ обще: «на него стали находить минуты унынія, жизнь его остановилась» и т. д. «Вкушая вкусихъ мало меду и се азъ умираю»—вотъ смыслъ предыдущихъ строкъ. Медъ исчезъ, возможность и охота наслаждаться медомъ исчезла—корень жизни надломился, и великій человѣкъ на вершинѣ человѣческой славы опять стоитъ съ глазу на глазъ съ роковой тай-

ной бытія и, вперивъ въ безконечную пустоту вселенной свой испытующій взглядъ, спрашиваетъ себя: зачѣмъ, къ чему?

Кто же разскажетъ, что тайна отъ вѣка,
Въ чемъ состоитъ существо человѣка...
Кто онъ? Откуда, куда онъ идетъ?
Кто тамъ вверху надъ звѣздами живетъ?

Это страшный вопросъ, и правъ поэтъ, говоря:

Сколько головъ безпокойныхъ томилъ онъ,
Сколько имъ муки принесъ!

И вотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ, гр. Толстой прячетъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься, и не ходитъ на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни. Что же такое жизнь? спрашиваетъ себя этотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ, и отвѣчаетъ: Кѣмъ-то сыгранная надъ нами злая и глупая шутка... Онъ смотритъ на веселыя, смѣющіяся лица дѣтей, на другія знакомыя, любимыя лица, и думаетъ: пройдутъ года, и въ сущности немного лѣтъ всего, и замолкнетъ этотъ смѣхъ, и не останется ничего кромѣ смрада и червей. Что я и «вѣчность?» Обидный страшный звукъ—не больше.

Толстой говоритъ, что онъ «боялся жизни», стремился отъ нея. Я думаю, что онъ всего сильнѣе боялся смерти. Приближающаяся старость, сѣдина и морщины, болѣзни—все это направляло умъ къ той странѣ, откуда не возвращался еще никто. Съ точки зрѣнія смерти, все суета, все глупо, не нужно, пусто. Дойти до такого настроенія, когда, смотря на смѣющіяся красныя губы, воображаешь ихъ себѣ изъѣденными червями, или, видя передъ собой лучистые, полные жизни глаза, думаешь о безобразныхъ впадинахъ черепа, набитыхъ землей и червями—значитъ не жить уже больше. Мы сейчасъ ближе ознакомимся съ этимъ процессомъ смерти и возрожденія. Но пока одно маленькое замѣчаніе.

Чѣмъ живъ человѣкъ? Своей привязанностью къ жизни прежде всего. Она не иллюзія, а мать всѣхъ иллюзій, надеждъ, ожиданій,—она источникъ силы, стремленія, радости. Разъ исчезла она, исчезло все. Привязанность къ жизни—инстинктъ, онъ не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія разума и не нуждается въ этой критикѣ. Я думаю даже, что такая критика преступна. Это понималъ Лермонтовъ, когда писалъ: я не хочу...

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка умъ спокойный
И сердце слабое увлекъ
Въ свой необузданный потокъ...

О, нѣтъ, *преступною* мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...

Уничтожать въ другомъ привязанность къ жизни—преступная мечта. Это все, что есть у человѣка, это богатство всѣхъ его дней; отнимать его то же, что отнимать у нищаго суму и корку хлѣба у голоднаго. Когда паралитикъ Гартманъ говоритъ, что жизнь скучна,—это не бѣда; но когда онъ съ нѣмецкой аккуратностью и несомнѣннымъ блестящимъ и ловкимъ діалектическимъ талантомъ начинаетъ перечислять всѣ радости бытія и подкапываться подъ чувство любви, дружбы, вѣры, счастья, я полагаю, что онъ совершаетъ преступленіе. Привязанность къ жизни—сумма всѣхъ инстинктовъ жизни, ихъ равнодѣйствующая, это таинственный жизненный элексиръ алхиміи; величіе разума въ томъ, чтобы увеличивать его, давать ему свободу проявленія, предохранять его отъ ошибокъ, но не заражать его тайнымъ ядомъ сомнѣнія. Сомнѣніе должно остановиться здѣсь; идти далѣе преступно. Такое страшное преступленіе совершилъ Гамлетъ, хотя онъ и любилъ Офелію болѣе, чѣмъ сорокъ тысячъ братьевъ. Онъ влюбленной, милой, полной жизни дѣвушкѣ показывалъ лишь черепъ и могильныхъ червей, онъ послалъ ее въ монастырь. Прямое убійство лучше и честнѣе, чѣмъ эта медленная отвратительная инквизиція.

Толстой подвергъ критикѣ разума самую привязанность къ жизни и дошелъ до мысли о самоубійствѣ. Это необходимо и логично. Онъ сообщилъ о своихъ сомнѣніяхъ всѣмъ, всему міру—это было бы преступленіемъ, если бы кризисъ его не кончился возрожденіемъ. Поэтому безъ боли и ужаса можемъ мы слѣдить за дальнѣйшими исканіями великой души. Эти исканія не приведутъ насъ къ глухому переулку, а выведутъ на дорогу, по которой идти или не идти наше дѣло; все же дорога есть даже для Толстого.

Толстой обратился къ наукѣ. Спрашивая у одной стороны человѣческихъ знаній, онъ получилъ безконечное количество темныхъ отвѣтовъ о томъ, чего не спрашивалъ: о химическомъ составѣ звѣздъ, о происхожденіи видовъ и человѣка, о формахъ безконечно легкихъ невѣсомыхъ частицъ эфира, но отвѣта на вопросъ, въ чемъ смыслъ жизни, онъ не получилъ и, разумѣется, не могъ его получить, потому что наука этимъ вопросомъ не занимается и заниматься не можетъ. Все равно, какъ я не пойду въ X-й томъ законовъ справляться о томъ, что такое нравственность, и не долженъ обращаться

къ китайской грамматикѣ, чтобы узнать, какъ излѣчиться мнѣ отъ болѣзни.—такъ за рѣшеніемъ вопроса о смыслѣ жизни мнѣ нечего читать Дарвина, Лапласа, Лавуазье, Ляйеля. Смыслъ жизни—это конечная цѣль жизни, а ни о какихъ конечныхъ цѣляхъ наука не разсуждаетъ, давно уже убѣдившись, что такія разсужденія безплодны и невозможны.

Толстой обратился къ философіи. Здѣсь онъ, повидимому, нашелъ выходъ изъ своего положенія, но этотъ выходъ былъ какъ разъ тотъ, который наводилъ на него такой ужасъ. Этимъ выходомъ была смерть. Онъ называетъ Сократа, Соломона, Будду, Шопенгауэра глубочайшими умами человѣчества. Чему же учатъ они? Толстой такъ формулируетъ ихъ воззрѣнія: «Къ чему мы, любящіе истину, стремимся къ жизни? Къ тому, чтобы освободиться отъ тѣла и отъ всего зла, вытекающаго изъ жизни тѣла. Если такъ, то какъ же намъ не радоваться, когда смерть приходитъ къ намъ? «Мы приблизимся къ истинѣ лишь настолько, насколько удалимся отъ жизни, говорилъ Сократъ, готовясь къ смерти. Мудрецъ всю жизнь ищетъ смерти, и потому смерть не страшна ему».

Итакъ, смыслъ жизни въ смерти?

Толстой обратился къ людямъ своего круга и нашелъ у нихъ четыре выхода изъ сомнѣній. Первый выходъ есть выходъ невѣдѣнія, состоящій въ томъ, чтобы не знать и не понимать того, что жизнь есть зло и безсмыслица. Второй выходъ есть выходъ эпикурейства. Человѣкъ знаетъ безнадежность своего положенія и все же говоритъ, какъ нѣкогда Соломонъ: «ѣшь съ веселіемъ хлѣбъ свой и пей въ радости сердца вино твое»... Третій выходъ—самоубійство. Четвертый слабость и малодушіе. Понимая, что жизнь есть зло и безсмыслица, люди все же тянутъ ее.

Разумѣется, ни одного изъ этихъ четырехъ выходовъ не могъ принять Толстой, потому что нельзя не знать того, что̀ знаешь, и не понимать того, что̀ понимаешь.

И онъ обратился къ тому, кто всегда спасалъ его, кто всегда съ ласковой, доброй улыбкой протягивалъ ему, утопающему, руку—къ народу, массѣ.

„Благодаря,—говоритъ онъ,—какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидѣть, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ,—я чуялъ, что если я хочу понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые утеряли его и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ живущихъ и от-

жившихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромныя массы людей, жившихъ вокругъ меня"...

«Вѣра—сила жизни». Къ этому выводу пришелъ Толстой, и противъ такого вывода никто никогда ничего возразить не можетъ. Вѣра—это воля жизни, сосредоточившаяся возлѣ одного опредѣленнаго стремленія и дающая смыслъ и цѣль всему нашему бытію.

Но гдѣ и какъ найти эту вѣру? Вопросъ, повидимому, неразрѣшимый. Если я ничего не хочу (кромѣ удовлетворенія самыхъ элементарныхъ потребностей), то кто заставитъ или научитъ меня хотѣть; если я ни къ чему не стремлюсь, то что заставитъ или научитъ меня стремиться? Знаніе пріобрѣтается легко, но пріобрѣсти вѣру, когда ея нѣтъ, большинству кажется совершенно невозможнымъ. Эту самую невозможность испыталъ и Толстой, пока не пришелъ наконецъ къ правилу: «живи по вѣрѣ, и ты повѣришь»... Но пришелъ онъ къ этому не сразу. Не мало времени искалъ онъ вѣры такъ же, какъ мы ищемъ знанія. Онъ обращался къ монахамъ, странникамъ и священникамъ, онъ ходилъ въ Оптинскую пустынь, онъ запирался каждое утро въ кабинетѣ и молился, онъ постился, говѣлъ. Наконецъ онъ сталъ изучать Евангеліе и вчитываться въ его безсмертныя слова, продолжая собирать въ то же время «свѣдѣнія о вѣрѣ», если можно такъ выразиться. Онъ сближался съ католиками, протестантами, раскольниками, старообрядцами, молоканами, изучалъ еврейскій языкъ подъ руководствомъ московскаго раввина Минора, все стремясь къ тому же—къ пониманію Евангелія... Нѣсколько лѣтъ провелъ онъ въ этой умственной напряженной работѣ, познакомился со всѣми толкованіями, накопилъ массу спеціальныхъ знаній, самъ комментировалъ, продолжая страдать, наслаждаться и сомнѣваться... Такъ разсказываетъ онъ объ этихъ своихъ занятіяхъ:

«Я прожилъ на свѣтѣ 55 лѣтъ и, за исключеніимъ 14—15 дѣтскихъ, 35 лѣтъ я прожилъ нигилистомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, то-есть не соціалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно понимаютъ это слово, а нигилистомъ въ смыслѣ отсутствія вѣры.

«Пять лѣтъ тому назадъ я повѣрилъ въ ученіе Христа, и жизнь моя *вдругъ* перемѣнилась: мнѣ перестало хотѣться того, чего прежде хотѣлось, и стало хотѣться того, чего прежде не хотѣлось. То, что прежде казалось мнѣ хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Случилось со мной то, что случается съ человѣкомъ, который вышелъ за дѣломъ и вдругъ рѣ-

шилъ дорогой, что дѣло это ему совсѣмъ не нужно, и повернулъ домой. И все, что было справа, стало слѣва, и все, что было слѣва, стало справа: прежнее желаніе быть какъ можно дальше отъ дома перемѣнилось на желаніе быть какъ можно ближе отъ него. Направленіе моей жизни—желанія стали другими: и доброе, и злое перемѣнилось мѣстами.

«Я такъ же, какъ разбойникъ на крестѣ, повѣрилъ ученію Христа и спасся. И это не далекое сравненіе, а самое близкое выраженіе того душевнаго состоянія отчаянія и ужаса передъ жизнью и смертью, въ которомъ я находился прежде, и того состоянія спокойствія и счастья, въ которомъ я нахожусь теперь. Я, какъ разбойникъ, зналъ, что жилъ и живу скверно, видѣлъ, что большинство людей вокругъ меня живутъ такъ же. Я такъ же, какъ разбойникъ, зналъ, что я несчастливъ, страдаю и что вокругъ меня люди также несчастливы и страдаютъ, и не видалъ никакого выхода, кромѣ смерти, изъ этого положенія. Я такъ же, какъ разбойникъ къ кресту, былъ пригвожденъ какой-то силой къ этой жизни страданій и зла. И какъ разбойника ожидалъ страшный мракъ смерти послѣ безсмысленныхъ страданій и зла жизни, такъ и меня ожидало то же» (1883 г.).

XIII.

Ученіе Толстого.

Мы остановимся только на самыхъ существенныхъ пунктахъ:

1) *Основная идея жизни—идея религіозная.*

«Какъ ни храбрись,—говоритъ Толстой,—привилегированная наука съ философіей, увѣряя, что она рѣшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей религіей готовое, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываетъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни».

Ту же самую мысль онъ повторяетъ постоянно. Напр.:

«Философія, наука, общественное мнѣніе говорятъ: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человѣка зависитъ не отъ одного свѣта разума, которымъ онъ можетъ освѣтить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо

освѣщать эту жизнь разумомъ и жить согласно ему, а надо жить какъ живется, твердо вѣруя, что по законамъ прогресса историческаго, соціологическаго и другихъ, послѣ того, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдѣлается сама собой очень хорошей»...

Такія нападки на науку и презрительный тонъ по адресу законовъ «историческихъ», «соціологическихъ» и другихъ не должны удивлять насъ. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что, какъ мы видѣли уже раньше, онъ спрашивалъ ее совсѣмъ не о томъ, о чемъ можно спрашивать науку.

Но если мы оставимъ въ сторонѣ слишкомъ рѣзкую формулировку Толстого, въ чемъ онъ постоянно грѣшитъ, говоря о наукѣ или философіи, и посмотримъ лишь на остовъ мысли, выраженной въ предыдущихъ словахъ, то найдемъ въ немъ, этомъ остовѣ мысли, совершенно справедливое указаніе на одну существенную черту научнаго и философскаго мышленія—именно на признаніе *«необходимости» въ жизни.* Наука и философія не могутъ такъ безпредѣльно вѣрить въ силу человѣческаго разума, какъ вѣритъ въ нее гр. Толстой. Наука и философія разсматриваютъ и изучаютъ человѣка, не самого по себѣ взятаго, а въ отношеніи ко вселенной, къ исторіи, къ тому, что дѣлалось милліоны лѣтъ тому назадъ и будетъ дѣлаться милліоны лѣтъ спустя, когда насъ лично не было и не будетъ. Отсюда и различіе въ оцѣнкѣ. Поставивши человѣка рядомъ съ Казбекомъ или Монбланомъ, мы найдемъ, что онъ—предметъ очень малый съ виду; но, поставивъ его рядомъ съ мухой, найдемъ, что онъ—существо довольно обширныхъ размѣровъ. Говоря о личной жизни и даже жизни отдѣльнаго поколѣнія въ сравненіи съ прошлой и будущей судьбой всего человѣчества и всей вселенной, мы едва-ли придадимъ имъ ту важность, которую необходимо придадимъ, разъ посмотримъ какъ на нѣчто самостоятельно сущее. Астрономъ, изучая образованіе вселенной, геологъ—образованіе земной коры, физикъ и химикъ—свойства и дѣятельность элементовъ, историкъ—прошлое человѣка, никакъ не могутъ проникнуться безусловнымъ уваженіемъ къ разуму человѣческому, потому что до сей поры они ни на чемъ не видѣли его слѣдовъ, или же эти слѣды такъ же незначительны, какъ слѣды ребенка на гранитной скалѣ. Даже, повторяю, историкъ смѣло можетъ спросить себя, что же сдѣлалъ человѣческій разумъ? *Пока* слишкомъ мало. Величайшіе факты нашей новой европейской исторіи—переселеніе народовъ, паденіе крѣпостничества, развитіе капиталистической си-

стемы хозяйства—не носятъ на себѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ разума человѣческаго. На какомъ же основаніи можно возлагать на этотъ послѣдній такія большія надежды? Не говоря уже о томъ, что и понять-то что нибудь очень трудно при несомнѣнной умственной косности и умственной забитости большинства людей—перевести это пониманіе въ дѣйствія въ 999 случаяхъ изъ 1000 прямо невозможно. Гр. Толстой утверждаетъ однако, что это очень легко. «*Только бы*, говоритъ онъ, люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придетъ и поможетъ имъ»...

Только бы... только... да въ этомъ «только» вся суть и заключается.

Но съ этой преувеличенной вѣрой Толстого въ силу человѣческаго разума и воли, съ его благороднымъ, хотя и утопическимъ убѣжденіемъ, что жизнь перемѣнится сразу, если мы того захотимъ и повѣримъ,—мы еще встрѣтимся. Пока же, второй пунктъ, который гласитъ:

2) *Религіозная идея практична*, т. е. ведетъ человѣка не къ созерцанію, а къ дѣятельности, поступкамъ. Она даетъ человѣку правила жизни и прежде всего выводитъ его изъ заколдованнаго круга личнаго эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Графъ Толстой рѣшительно это отрицаетъ.

«Всѣ тѣ безчисленныя дѣла, которыя мы дѣлаемъ для себя, въ будущемъ не нужны; все это обманъ, которымъ мы сами обманываемъ себя. Притчей о виноградаряхъ Христосъ разъясняетъ этотъ источникъ заблужденія людей..., заставляющаго ихъ принимать призракъ жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ поступковъ, кончающихся ихъ изгнаніемъ, исключеніемъ изъ жизни; точно такъ же мы вообразили себѣ, что жизнь каждаго изъ насъ есть наша личная собственность, что мы имѣемъ право на нее и можемъ пользоваться ею какъ хотимъ, ни передъ кѣмъ не имѣя никакихъ обязательствъ. По ученію Христа люди должны «понимать и чувствовать», что со дня рожденія и до смерти они всегда въ неоплатномъ долгу передъ кѣмъ-то, передъ жившими до нихъ и передъ живущими и имѣющими жить, и передъ тѣмъ, что было и есть и будетъ началомъ всего».

Нѣсколькими строками ниже Толстой говоритъ и понятнѣе:

«жизнь истинная есть только та, которая продолжаетъ жизнь прошедшую, содѣйствуетъ благу жизни современной и благу жизни будущей».

Хотя мысль эта выражена въ очень общей и потому совершенно неубѣдительной формѣ, я все же думаю, что ни наука, ни философія ничего противъ нея возразить не могутъ. Человѣкъ какъ личность на самомъ дѣлѣ находится въ неоплатномъ долгу передъ жившими, живущими и имѣющими жить, и давно уже не только сказано, но и доказано, что одинъ, предоставленный самому себѣ, онъ можетъ съ успѣхомъ развѣ обрости шерстью. Толстой вообще не устаетъ называть личную жизнь призракомъ—призрачной, откуда совершенно естественно вытекаетъ выводъ, что истинная жизнь можетъ быть основана лишь на отреченіи отъ себя для служенія людямъ».

3) *Современное ученіе міра противорѣчитъ ученію Христа.* Толстой постоянно возвращается къ этой мысли, и надо согласиться, въ этомъ сила его ученія.

Онъ шелъ какъ-то по Москвѣ и увидѣлъ сторожа, грубо отгонявшаго нищаго отъ воротъ, гдѣ нищимъ стоять было воспрещено. «Евангеліе читалъ?» спросилъ сторожа Толстой. «Читалъ».—«А читалъ: «и кто накормитъ голоднаго...?» Я сказалъ ему это мѣсто. Онъ зналъ его, выслушалъ. И я видѣлъ, что онъ смущенъ. Ему видно больно было чувствовать, что онъ, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народъ оттуда, откуда велѣно гонять, вдругъ оказался неправъ. Онъ былъ смущенъ и видимо искалъ отговорки. Вдругъ въ умныхъ черныхъ глазахъ его блеснулъ свѣтъ; онъ повернулся ко мнѣ бокомъ, какъ бы уходя. «А нашъ уставъ читалъ?» спросилъ онъ. Я сказалъ, что не читалъ. «Такъ и не говори», сказалъ сторожъ, тряхнувъ побѣдоносно головой и, запахнувъ тулупъ, молодецки пошелъ къ своему мѣсту. Это былъ единственный человѣкъ во всей моей жизни, строго логически разрѣшившій тотъ вѣчный вопросъ, который при нашемъ общественномъ строѣ стоялъ передо мною и стоитъ передъ каждымъ, называющимъ себя христіаниномъ».

Ученіе Христа построено на любви и братствѣ, наша жизнь на силѣ. Сильный преобладаетъ надъ слабымъ, ученый надъ глупымъ, богатый надъ бѣднымъ, талантливый надъ безталаннымъ.

Что же дѣлать? Прежде всего *одуматься* и спросить себя: приноситъ ли мнѣ счастье та самая жизнь, на которую я трачу

всѣ свои силы? Двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ, по словамъ Толстого, быть не можетъ. Мы живемъ по ученію міра, думаемъ о накопленіи богатствъ, о превосходствѣ надъ другими, о галантномъ воспитаніи дѣтей своихъ, хлопочемъ, безпокоимся, мучаемся и все это изъ за чего? Изъ за такихъ пустыхъ вещей, какъ чтобы жить какъ люди, или чтобы не жить хуже другихъ людей. Толстой одумался и пришелъ къ тому выводу, что: «въ своей исключительно въ мірскомъ смыслѣ счастливой жизни я наберу страданій, понесенныхъ мною во имя ученія мира, столько, что ихъ стало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Всѣ самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тѣхъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу теперь,—все это есть мученичество во имя ученія міра. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую въ мірскомъ смыслѣ, жизнь. Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, необходимо».

«Пройдите по большой толпѣ людей, особенно городскихъ, и вглядитесь въ эти истомленныя тревожныя лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать; вспомните всѣ тѣ насильственныя смерти, всѣ тѣ самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите: во имя чего всѣ эти страданія, отчаяніе и горе, приводящія къ самоубійствамъ?»

Отвѣтъ Толстого простъ: мы—мученики ученія міра. Оно, противоположное ученію Христа, ведетъ насъ къ братоубійственной борьбѣ, злобѣ, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляетъ насъ желать гибели ближняго и опускать руку, протянутую на помощь ему. Оно ставитъ для нашей дѣятельности не нужныя и пустыя цѣли, преслѣдуя которыя мы совершенно забываемъ объ истинномъ смыслѣ жизни. И это забвеніе не проходитъ даромъ: мы расплачиваемся за него преступленіями, самоубійствами, тяжелымъ и постояннымъ чувствомъ недовольства и неудовлетворенности. Гоняясь за призраками мірскихъ идеаловъ, мы ощущаемъ лишь пустоту и утомленіе. Въ нашей жизни нѣтъ *счастливыхъ* людей. «Поищите,—говоритъ Толстой,—между этими людьми и найдите отъ бѣдняка до богача человѣка, которому бы хватало то, что онъ зарабатываетъ, на то, что онъ считаетъ нужнымъ, необходимымъ по ученію міра, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу.

Всякій бьется изо всѣхъ силъ, чтобы пріобрѣсти то, что не нужно для него, но что требуется отъ него ученіемъ міра и отсутствіе чего онъ считаетъ для себя несчастіемъ. И какъ только онъ пріобрѣтетъ то, что требуется отъ него, потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идетъ эта сизифова работа, губящая жизнь людей».

Итакъ, виновато «ученіе міра», и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при какихъ усиліяхъ не обезпечиваетъ человѣку счастья. Преступленія и самоубійства, разрывныя бомбы и казни, чума и неурожаи, бунты и драки—вотъ повидимому тотъ матеріалъ, которымъ наполняется наше ежедневное существованіе. Изрѣдка выступаетъ на сцену какой нибудь «отрадный фактъ», такой микроскопическій, что сравнительно съ окружающимъ его зломъ онъ представляется камешкомъ, катящимся по крутизнѣ Казбека, и робкимъ блескомъ фонаря передъ темнотой пропасти, куда не достигаютъ даже лучи солнца. Гдѣ же тутъ говорить о счастьѣ?... Чтобы было счастье, надо прежде всего держаться по Толстому знаменитаго правила:

4) *Не противься злу.*

Я совсѣмъ не оптимистъ и живу въ томъ убѣжденіи, что, какъ ни страшно то зло, которое мы знаемъ, оно не составляетъ и сотой доли того зла, котораго мы не знаемъ. Мы не знаемъ и не можемъ знать, какъ страдаетъ мать, на рукахъ которой умираетъ голодный ребенокъ; мы не знаемъ и не можемъ знать, что испытываетъ человѣкъ, когда надъ нимъ опускается топоръ гильотины. Для насъ это гіероглифы. И однако, несмотря на такой взглядъ на вещи, я полагаю, что Толстой слишкомъ сгущаетъ краски. Онъ сгущаетъ ихъ, когда говоритъ, что страданій, перенесенныхъ имъ лично въ его исключительно счастливой жизни, хватило бы на добраго христіанскаго мученика; сгущаетъ краски и тогда, когда говоритъ, что ученіе міра—одно сплошное зло.

Я не буду говорить банальной и пошлой фразы, что рядомъ со зломъ существуетъ и добро, рядомъ съ человѣконенавистничествомъ проявляется состраданіе... ну, филантропія, что ли. Богъ съ ними, и съ добромъ нашей жизни, и съ филантропіей, такъ какъ очевидно не въ нихъ дѣло.

Я спрашиваю себя: что такое добро?—Добро—наслажденіе, и сумма этихъ наслажденій составляетъ счастье. Зло—страданіе. Въ результатѣ счастья—продолженіе жизни, въ результатѣ страда-

нія—прекращеніе жизни, т. е. смерть. Смерть неминуема, если сумма наслажденій меньше суммы страданій; жизнь возможна лишь при томъ условіи, чтобы сумма наслажденій перевѣшивала сумму страданія. Это элементарный выводъ біологіи, и ясно, что вытекаетъ изъ него.

Пусть не Толстой, а другой кто-нибудь, хотя бы второй Шопенгауэръ или Гартманъ, составятъ списокъ всѣхъ проявленій зла. Исписавъ три стопы бумаги, они увидятъ себя лишь въ самомъ началѣ работы... И все же жизнь продолжается, и все же люди живутъ дольше, чѣмъ прежде, и все же работа человѣчества не прекращается ни на минуту.

Сумма наслажденій превышаетъ сумму страданія. Но какъ? Гдѣ тотъ таинственный знакъ, который отрицательную величину обращаетъ въ положительную? Гдѣ то, что дѣлаетъ нашу жизнь, полную зла, все же способною на продолженіе жизни?

Я знаю, что отвѣтъ будетъ непріятенъ послѣдователямъ графа Толстого, и все же не вижу причины скрывать его. Этотъ таинственный знакъ, это то, что мы ищемъ, есть не что иное, какъ *противленіе злу*. Въ борьбѣ-то съ нимъ, постоянной, упорной, настойчивой, человѣчество находитъ неизсякаемый источникъ наслажденія, и эта-то борьба даетъ ему возможность переносить то, что съ точки зрѣнія разума непереносимо.

Не буду спорить о терминѣ: противленіе насиліемъ или безъ насилія. Насиліе насилію рознь. Мать, которая укладываетъ ласково и нѣжно своего ребенка, нехотящаго спать,—совершаетъ надъ нимъ насиліе; солдатъ, который грубо ведетъ меня за шиворотъ въ плѣнъ, совершаетъ надо мной насиліе; жена, которая не даетъ мнѣ, больному, того, что для меня вредно, совершаетъ насиліе; Толстой, который геніальной страницей, исполненной отрицанія, выводитъ меня изъ состоянія блаженнаго невѣдѣнія, совершаетъ надо мной насиліе, и лучшее доказательство, что это дѣйствительно насиліе, то, что я спорю съ нимъ. Въ одномъ случаѣ я дерусь, въ другомъ спорю, въ четвертомъ барахтаюсь,—и тамъ, и здѣсь противлюсь. Противленіе, какое бы то ни было, даетъ перевѣсъ наслажденію надъ страданіемъ, и такъ было всегда, пока жило человѣчество. Троглодитъ, противившійся напавшему на него пещерному льву; русскіе люди, противившіеся вторженію Наполеона; публицистъ, противляющійся лжи и суевѣрію,—всѣ они насильники въ томъ или другомъ видѣ и всѣ они въ противленіи-то и находили наслажденіе, которое позволяло переносить страданіе.

Если же мы признаемъ, что противленіе злу, давая человѣку неизсякаемый источникъ наслажденія, обусловливаетъ самую возможность жизни, погруженной въ зло, то мы поймемъ не только то, какъ это мы все еще живы, но и то, какъ мы будемъ жить дальше, хотя бы зло возросло.

Но, скажутъ, Толстой не отрицаетъ противленія вообще. Онъ отрицаетъ лишь противленіе злу зломъ, насилію насиліемъ, и требуетъ, чтобы человѣкъ *шелъ дорогой добра, несмотря ни на что*. Это однако не такъ. Текстъ ясенъ: не противься злу, не больше и не меньше.

Мнѣ кажется, что хотя Толстой и сдѣлалъ текстъ о непротивленіи злому краеугольнымъ камнемъ своего ученія, все же въ толкованіи этого текста онъ часто противорѣчитъ себѣ. Разъ онъ пишетъ: «слова эти: не противься злу и злому, понятыя въ *ихъ прямомъ значеніи*, были для меня истинно ключомъ, открывшимъ для меня *все*». Что же могутъ означать эти слова въ ихъ прямомъ значеніи? Не противься злу *никакъ:* ни зломъ, ни добромъ, ни насиліемъ, ни убѣжденіемъ, ничѣмъ, что находится въ твоемъ распоряженіи. Что же это за «*все*», что могъ открыть Толстому ихъ прямой смыслъ? Еслибы онъ разсуждалъ не какъ живой и великій человѣкъ, а какъ логическая машина, онъ бы сказалъ: это все есть полное ничто, это все есть переходъ aus individueller Nichtigkeit ins Urnichts, т. е. нирвана. Однако Толстой требуетъ добра, правды, любви. Очевидно, что онъ придалъ тексту слишкомъ широкое значеніе, призналъ его за краеугольный камень своей нравственности, и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ узкое, полагая, что онъ совмѣстимъ съ проповѣдью дѣятельной любви. Непротивленіе злу—требованіе отрицательное и, какъ таковое, можетъ вести лишь къ полному устраненію отъ жизни. Здѣсь очевидная путаница.

Кромѣ этого, никогда я не понималъ, и теперь не понимаю, почему вмѣсто текста отрицательнаго, Толстой не призналъ краеугольнымъ камнемъ текста положительнаго, о дѣятельной любви, напр.: «вѣра безъ дѣлъ мертва есть»? Много бы путаницы избѣжалъ онъ въ такомъ случаѣ. Но онъ настаиваетъ, что заповѣдь дѣятельной любви цѣликомъ вытекаетъ изъ заповѣди непротивленія злу. Какъ, какимъ образомъ? Дойдя до этого вопроса, Толстой всегда ставитъ точку и начинаетъ говорить о другомъ.

Для излюбленной своей теоріи непротивленія злу гр. Толстой не признаетъ рѣшительно никакихъ ограниченій, даже такихъ, которыя проистекали бы изъ чисто рефлективной стороны человѣче-

ской природы. Въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Энгельгардту онъ говоритъ, что еслибы зулусъ ворвался въ его домъ и на его глазахъ сталъ рѣзать его родного ребенка—онъ не противлялся бы.

Въ сказкѣ объ Иванѣ Дуракѣ и его двухъ братьяхъ есть такая страница.

«Перешелъ тараканскій царь съ войскомъ границу, послалъ передовыхъ разыскивать Иваново войско. Искали, искали—нѣтъ войска. Ждать, пождать—не окажется ли гдѣ? И слуха нѣтъ про войско, не съ кѣмъ воевать. Послалъ тараканскій царь захватить деревни. Пришли солдаты въ одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрятъ на солдатъ — дивятся. Стали солдаты *отбирать у дураковъ хлѣбъ, скотину*,—дураки отдаютъ и никто не обороняется. Пошли солдаты въ другую деревню—все то же. Походили солдаты день, походили другой,--вездѣ все то же: все отдаютъ, никто не обороняется и зовутъ къ себѣ жить: коли вамъ, сердешные, говорятъ, на вашей сторонѣ житье плохое, приходите къ намъ совсѣмъ жить. Походили, походили солдаты—нѣтъ войска; а все народъ живетъ, кормится и людей кормитъ и не обороняется, а зоветъ къ себѣ жить. Скучно стало солдатамъ, пришли къ своему тараканскому царю. — Не можемъ мы, говорятъ, воевать; отведи насъ въ другое мѣсто; добро бы война была, это что — какъ кисель рѣзать. Не можемъ больше тутъ воевать.—Разсердился тараканскій царь, велѣлъ солдатамъ по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлѣбъ сжечь, скотину перебить.—Не послушаете, говоритъ, моего приказа, всѣхъ, говоритъ, васъ расказню. — Испугались солдаты, начали по царскому указу дѣлать. Стали *дома, хлѣбъ жечь, скотину бить*. Все не обороняются дураки, только плачутъ: *плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята*. — За что, говорятъ, вы насъ обижаете? Зачѣмъ, говорятъ, вы добро дурно губите; коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите. — Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше, и все войско разбѣжалось».

По смыслу разсказа «Крестникъ», выходитъ, что человѣкъ, убившій въ горячности разбойника, занесшаго уже топоръ надъ его матерью, совершилъ «великій грѣхъ».

Мнѣ кажется, что разсматривать подобныя правила съ ихъ философской стороны совершенно излишне: надо лишь самого себя поставить въ ту обстановку, которую описываетъ гр. Толстой, и спросить себя: что я въ такомъ случаѣ буду дѣлать?

Буду ли я, какъ дуракъ изъ сказки «Ивана Царевича», равнодушенъ, видя, что на моихъ глазахъ насилуютъ мою жену, и сми-

ренно упрашивать насильника: «да оставайся, сердешный, совсѣмъ у насъ?» Буду ли я оставаться спокойнымъ и не противляющимся при убійствѣ моихъ дѣтей или матери? Я не могу оставаться спокойнымъ, и въ этомъ *не могу*—лучшій отвѣтъ на проповѣдь графа Толстого. Противъ возмущенія моего разсудка я еще въ силахъ бороться и въ силахъ подчинить его себѣ, но противъ возмущенія инстинкта, рефлекса, я такъ же безсиленъ, какъ безсиленъ не вздрогнуть, когда мнѣ неожиданно воткнули иголку въ спину,—безсиленъ не чихнуть, когда раздражили слизистую оболочку носа, не сжать зрачка, когда къ нему пододвинули свѣчу. Но инстинктъ, рефлексъ—это основаніе нашей человѣческой жизни, $^{9}/_{10}$ которой, кстати сказать, проходятъ въ совершенно безсознательныхъ процессахъ—и «уничтоживъ эту основу, я уничтожу самую возможность жизни», что̀ впрочемъ блестяще высказано самимъ графомъ Толстымъ въ «Войнѣ и Мирѣ».

Переходимъ къ 5-му пункту ученія:

5) *Помогай ближнему и люби его.* Устанавливая это правило, гр. Толстой особенно колебался, особенно искалъ и мучился. Какъ и чѣмъ можно помогать ближнему? Его живое человѣческое сердце требовало подвиговъ самоотреченія и самопожертвованія, его аналитическій резонерствующій разумъ ни на минуту не переставалъ мудрствовать лукаво, и въ этомъ своемъ мудрствованіи лукавомъ то и дѣло сталкивался съ живымъ призывомъ живого человѣческаго сердца. Уже съ дѣтства Толстого больше всего привлекала практическая сторона христіанства—ученіе о любви, самоотреченіи, милосердіи. Казалось бы, это ученіе и должно было лечь въ основу всей нравственной его философіи, но резонирующій разумъ не позволяетъ такъ просто посмотрѣть на дѣло и, не придя въ сущности ни къ чему, доставляетъ своему владѣльцу лишь долгія муки безплодныхъ исканій. Всякій, я думаю, помнитъ, какъ Толстой, попавши однажды въ Ржановскій домъ въ Москвѣ,—этотъ притонъ страшной нищеты, и притомъ нищеты безнадежной, не зналъ, что сдѣлать съ оставшимися у него 37-ю рублями. Этотъ эпизодъ вызвалъ у Михайловскаго горькую и блестящую страницу:

„Мы, говоритъ Н. К. Михайловскій, въ „Ржановомъ домѣ", въ самомъ центрѣ нищеты; она, хоть и пьяная и безобразная, но подлинная и несомнѣнная, кругомъ кишмя кишитъ. Гр. Толстому нужно отдѣлаться отъ 37 рублей, т. е. раздать ихъ. И посмотрите, какъ это оказывается трудно. Графъ и самъ раздумываетъ, и трактирщика Ивана Ѳедотыча на совѣтъ зоветъ,

причемъ этотъ Иванъ Ѳедотычъ, эта піявица, сосущая и спаивающая нищету, оказывается и „добродушнымъ“, и „добросовѣстнымъ“. На совѣтъ приглашается еще и трактирный половой, и вотъ начинаются размышленія: куда дѣвать 37 рублей? Лакей предлагаетъ дать Парамоновнѣ, которая *«бываетъ и не ѣмши»*, но Иванъ Ѳедотычъ отвергаетъ Парамоновну, потому „загуливаетъ“. Можно бы Спиридону Иванычу помочь, но и тутъ трактирщикъ находитъ препятствіе. Акулинѣ можно бы, да она „получаетъ“. „Слѣпому“, такъ тому самъ графъ не хочетъ: онъ его видѣлъ и слышалъ, какими онъ скверными словами ругается, и т. д. Согласитесь, что эта сцена поразительная и характерная: среди кишащей кругомъ нищеты графъ не знаетъ, какъ „отдѣлаться“ отъ 37 рублей, и все резонируетъ и резонируетъ, къ каковому занятію даже еще и трактирщика и полового привлекаетъ. *Неужели это живое чувство?* Пусть всякій, дѣйствительно простой сердцемъ человѣкъ пойдетъ съ 37 рублями въ карманѣ и съ рѣшимостью отъ нихъ отдѣлаться въ Ржановъ домъ, да посмотритъ хоть на Парамоновну, которая „бываетъ и не ѣмши“... А тутъ, помилуйте, „верстъ на тысячу въ окружности повѣстивъ свой добрый нравъ“ и порѣшивъ важнѣйшіе вопросы наигуманнѣйшимъ образомъ, такъ безпокоятся объ 37 рубляхъ и такъ стараются, чтобы они достались пожалуй и такой, которая не ѣмши, но чтобы не „загуливала“, а добродѣтелью сіяла. Это за тридцать-то семь рублей еще и добродѣтель имъ подавай... Нѣтъ, какъ хотите, а живого, непосредственнаго чувства тутъ маловато“.

Въ концѣ концовъ гр. Толстой пришелъ къ выводу, что помогать ближнему деньгами нельзя, ибо деньги—зло; нельзя помогать ему и знаніемъ, ибо всѣ мы—невѣжды и наука призрачна; нельзя помогать и заступничествомъ, ибо это ведетъ къ противленію.—Чѣмъ же помогать?—*Любовью*...

Когда начался въ Россіи голодъ 91—92 гг., гр. Толстой напечаталъ статью, въ которой признавались ненужными денежныя пожертвованія голодающимъ и отрицалось вообще всякое активное вмѣшательство въ жизнь, вѣрнѣе смерть милліоновъ людей. Такъ говорилъ резонирующій умъ. Прошло немного дней, и мы видимъ Толстого въ самомъ центрѣ нищеты, раздающаго хлѣбъ и деньги, устраивающаго даровыя столовыя.

Такъ заставило сдѣлать глубоко-любящее человѣческое сердце.

Что же дѣлать въ концѣ концовъ, какъ остаться чистымъ среди жизненной грязи, какъ быть нравственнымъ среди безнравственныхъ, правдивымъ среди лжи, христіаниномъ среди торжествующаго

ученія міра? Всѣ эти вопросы можно соединить въ одинъ: какимъ же путемъ добиться счастья и душевнаго спокойствія, гармоніи между словомъ и дѣломъ, убѣжденіями и жизнью? Въ отвѣтъ на это гр. Толстой выставляетъ передъ нами идеалъ мужицкой трудовой жизни.

„На вопросъ, что нужно дѣлать?—пишетъ Толстой,—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я самъ могу сдѣлать... На вопросъ, нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ на землѣ,—оказалось, что все это не нужно, ибо человѣкъ, трудящійся самъ собой, естественно примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ, не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности той умственной дѣятельности, которую я люблю къ которой привыкъ и которую въ минуты самомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный. Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномѣрно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ,—ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ“.

Графъ Толстой предлагаетъ такое распредѣленіе дня:

„День всякаго человѣка самой пищей раздѣляется на 4 части или 4 упряжки, какъ называютъ это мужики: 1) до завтрака; 2) отъ завтрака до обѣда; 3) отъ обѣда до полдника и 4) отъ полдника до вечера. Дѣятельность человѣка, въ которой онъ по самому существу своему чувствуетъ потребность, тоже раздѣляется на 4 рода: 1) дѣятельность мускульной силы, работа рукъ, ногъ, плечъ, спины—тяжелый трудъ, отъ котораго вспотѣешь; 2) дѣятельность пальцевъ и кисти рукъ—дѣятельность ловкости, мастерства; 3) дѣятельность ума и воображенія; 4) дѣятельность общенія съ другими людьми. Блага, которыми пользуется человѣкъ, тоже раздѣляются на 4 рода: всякій человѣкъ пользуется, во-первыхъ, произведеніями тяжелаго труда: хлѣбомъ, скотиной, постройками, колодцами, прудами и т. п.; во-вторыхъ—дѣятельностью ремесленнаго труда: одежей, сапогами, утварью и т. п.; въ-третьихъ—произведеніями умственной дѣятельности: наукъ, искусства; и въ-четвертыхъ—установленнымъ общеніемъ съ людьми. И мнѣ представилось, что лучше всего бы было чередовать занятія дня такъ, чтобы упражнять всѣ четыре способности человѣка и самому производить

всѣ тѣ четыре рода благъ, которыми пользуются люди, такъ, чтобы одна часть дня—первая упряжка—была посвящена тяжелому труду, другая—умственному, третья—ремесленному и четвертая—общенію съ людьми. Мнѣ представилось, что тогда только уничтожится то ложное раздѣленіе труда, которое существуетъ въ нашемъ обществѣ, и установится то справедливое раздѣленіе труда, которое не нарушаетъ счастія человѣка".

Общія замѣчанія объ ученіи графа Толстого. Взявши это ученіе въ совокупности, вы видите, что оно имѣетъ нѣсколько разнообразныхъ источниковъ, изъ которыхъ первый есть: ненависть къ ученію міра во имя ученія Христа.

Мнѣ кажется, что этотъ источникъ самый существенный, а заключенное въ немъ противорѣчіе—самое конкретное и удобопонятное. Въ главѣ о писательской драмѣ мы видѣли, что̀ заставляло Толстого признавать безполезными и даже вредными свои произведенія. Онъ дѣлалъ имъ очную ставку съ нуждами и потребностями народа, и на этой очной мучительной ставкѣ геніальныя художественныя произведенія ясно выражали свою виновность. Но признаніе безполезности и даже вредности достигло крайняго своего напряженія, когда гр. Толстой спросилъ себя: чему онъ служитъ, что проповѣдуетъ? Оказалось, что какъ самая его жизнь, такъ и всѣ его произведенія служатъ ученію міра и проповѣдуютъ *силу*. Онъ хотѣлъ быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ, онъ проповѣдывалъ прелесть семейной обезпеченной жизни, которую надо завоевать. Быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ—значитъ быть сильнѣе ихъ. Завоевать себѣ семейную обезпеченную жизнь можно лишь силой красоты, ума, дарованія, богатства. Его лучшіе герои выдѣляются то какъ хозяева, то какъ таланты, т. е. выдѣляются своей силой.

Онъ увѣровалъ во Христа, и служеніе силѣ, проповѣдь силы показалась ему и преступной, и грѣховной.

Ученіе Христа—ученіе любви. Христосъ запретилъ своимъ ученикамъ называть кого бы то ни было погибшимъ и погибающимъ. Для него не существовало ни эллиновъ, ни іудеевъ, ни рабовъ, ни свободныхъ—онъ зналъ только людей. Въ жизни онъ воплощалъ лишь одинъ законъ—законъ любви.

Толстой, какъ христіанинъ, идетъ по той-же дорогѣ. Его народные разсказы всѣ написаны на одну и ту же тему, что смиреніе, какъ законъ любви, выше какого-бы то ни было другого закона, служа которому человѣкъ служитъ самому себѣ.

Это настроеніе Толстого превратилось въ философскую систему; онъ говоритъ:

«Религія есть установленное человѣкомъ между собой и вѣчнымъ и безконечнымъ міромъ или началомъ и первопричиной его извѣстное отношеніе.

«Изъ этого отвѣта на первый вопросъ самъ собою вытекаетъ и отвѣтъ на второй.

«Если религія есть установленное отношеніе человѣка къ міру, опредѣляющее смыслъ его жизни, то нравственность есть указаніе и разъясненіе той дѣятельности человѣка, которая сама собой вытекаетъ изъ того или другого отношенія человѣка къ міру. А такъ какъ основныхъ отношеній къ міру или началу его извѣстно намъ только два, если разсматривать языческое общественное отношеніе какъ распространеніе личнаго, или три, если разсматривать общественное языческое отношеніе какъ отдѣльное, то нравственныхъ ученій существуетъ только три: нравственное ученіе первобытное дикое, личное нравственное ученіе языческое или общественное и нравственное ученіе христіанское, т. е. служеніе Богу—или божеское.

«Изъ перваго отношенія человѣка къ міру вытекаютъ общія всѣмъ языческимъ религіямъ ученія о нравственности, имѣющія въ своей основѣ стремленіе къ благу отдѣльной личности и потому опредѣляющія всѣ состоянія, дающія наибольшее благо личности и указывающія средства пріобрѣтенія этого блага.

«Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ нравственныя ученія: эпикурейское въ низшемъ проявленіи, ученіе нравственности магометанское, обѣщающее грубое благо личности на этомъ и на томъ свѣтѣ, и ученіе свѣтской утилитарной нравственности, имѣющей цѣлью благо личности только на этомъ свѣтѣ.

«Изъ того же ученія, ставящаго цѣлью жизни благо отдѣльнаго человѣка, а потому избавленіе отъ страданій личности, вытекаютъ нравственное ученіе буддизма въ его грубой формѣ и свѣтское ученіе пессимистическое.

«Изъ второго языческаго отношенія человѣка къ міру, ставящаго цѣлью жизни благо извѣстной совокупности личностей, вытекаютъ нравственныя ученія, требующія отъ человѣка служенія той совокупности, благо которой признается цѣлью жизни. По этому ученію пользованіе личнымъ благомъ допускается только въ той мѣрѣ, въ которой оно пріобрѣтается всею тою совокупностью, которая составляетъ религіозную основу жизни. Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ из-

вѣстныя намъ нравственныя ученія древняго римскаго и греческаго міра, гдѣ личность всегда приносила себя въ жертву обществу, такъ же и нравственность китайская; изъ этого же отношенія вытекаетъ нравственность еврейская—подчиненіе своего блага благу избраннаго народа, и нравственность нашего времени, требующая жертвы личности для условнаго блага большинства. Изъ этого-же отношенія къ міру вытекаетъ нравственность большинства женщинъ, жертвующихъ всею своею личностью для блага семьи и главное—дѣтей.

«Изъ третьяго, христіанскаго, отношенія къ міру, состоящаго въ признаніи человѣкомъ себя орудіемъ высшей воли для исполненія ея цѣлей, вытекаютъ и соотвѣтствующія этому пониманію жизни нравственныя ученія, уясняющія зависимость человѣка отъ высшей воли и опредѣляющія требованія этой воли. Изъ этого отношенія человѣка къ міру вытекаютъ всѣ высшія, извѣстныя человѣчеству, нравственныя ученія: пиѳагорійское, стоическое, буддійское, браминское, таосійское въ ихъ высшемъ проявленіи и христіанское въ его настоящемъ смыслѣ, требующія отреченія отъ личной воли и отъ блага не только личнаго, но и семейнаго и общественнаго во имя исполненія открытой намъ въ нашемъ сознаніи воли Того, Кто послалъ насъ въ жизнь. Изъ этого другого или третьяго отношенія къ безконечному міру или началу его вытекаетъ дѣйствительная, нелицемѣрная нравственность каждаго человѣка, несмотря на то, что̀ онъ номинально исповѣдуетъ или проповѣдуетъ какъ нравственность, или чѣмъ хочетъ казаться.

«Такъ что человѣкъ, признающій сущность своего отношенія къ міру въ пріобрѣтеніи для себя наибольшаго блага, сколько-бы онъ ни говорилъ о томъ, что онъ считаетъ нравственнымъ жить для семьи, для общества, для государства, для человѣчества и для исполненія воли Бога, можетъ искусно притворяться предъ людьми, обманывая ихъ, но дѣйствительнымъ мотивомъ его дѣятельности будетъ всегда только благо его личности, такъ что, когда представится необходимость выбора, онъ пожертвуетъ не своей личностью для семьи, для государства, для исполненія воли Бога, а всѣмъ для себя, потому что, видя смыслъ своей жизни только въ благѣ своей личности, онъ не можетъ поступать иначе до тѣхъ поръ, пока не измѣнитъ своего отношенія къ міру.» («Сѣверный Вѣстникъ», январь 1895.)

Толстой не считается и не хочетъ считаться ни съ исторіей нашей жизни, ни съ устройствомъ нашего организма. Онъ теперь такъ-же безусловно вѣритъ въ силу человѣческаго разума и воли,

какъ прежде, въ эпоху «Войны и Мира», безусловно отрицалъ ее. Онъ убѣждаетъ насъ любить и вѣрить, и думаетъ, что мы станемъ любить и вѣрить, разъ мы поймемъ, какъ преступна и злобна наша жизнь, основанная на стремленіи къ силѣ, на преклоненіи передъ силой, на служеніи силѣ.

Гамлету казалось порою, что одинъ ударъ ножа можетъ прекратить всѣ его муки, колебанія, сомнѣнія. Толстому кажется, что одно усиліе воли и пониманія переродитъ насъ и нашу жизнь. Онъ и говоритъ поэтому: «одумайтесь!»

Одуматься всегда хорошо. Возражать противъ того, что надо одуматься,—было-бы преступно. Но такъ-ли это спасительно? Во-первыхъ, кто можетъ одуматься? Я допускаю, что у Толстого милліонъ читателей. Изъ этого милліона пусть 100 тысячъ, т. е. десятая часть, пойдутъ по его стопамъ. Но что-же могутъ эти 100 тысячъ сдѣлать съ 50 вѣками исторіи, тысячами милліонами человѣчества, устройствомъ организма и наслѣдственностью? Толстой не признаетъ наслѣдственности, какъ Руссо; онъ думаетъ, что человѣкъ родится свободнымъ, чистымъ и добрымъ—ну, а какъ наслѣдственность существуетъ, ну, а какъ человѣкъ родится не свободнымъ, не чистымъ, не добрымъ? Вѣдь это послѣднее предположеніе справедливѣе. Толстой вѣруетъ, что разумъ такъ-же легко можетъ справиться съ инстинктами, какъ человѣкъ съ муравьемъ. О такой силѣ разума исторія не говоритъ ничего, а говоритъ какъ разъ наоборотъ. Не было эпохи, когда люди не понимали, что ихъ жизнь страшно далека отъ совершенства, и не было эпохи, когда это пониманіе совершенно перерождало-бы ихъ.

Когда-то Толстой приравнивалъ отдѣльнаго человѣка къ безконечно-малой величинѣ—дифференціалу, т. е. геометрическому непротяженному центру. Это была крайность, но крайность, гораздо болѣе близкая къ истинѣ, чѣмъ та, въ которую онъ вдался теперь. «Дифференціалъ» исторіи превратился въ титана, свободно двигающаго горами... Когда-то Толстой всѣмъ существомъ своимъ принадлежалъ теоріи исторической необходимости. Теперь, вмѣсто необходимости, передъ нами всевозрождающая сила любви, вѣры, пониманія. Человѣкъ, дойдя до бездонной пропасти, въ испугѣ поворачиваетъ въ сторону, прямо противоположную, и думаетъ, что теперь нашелъ истинный путь? А вдругъ и тамъ пропасть еще глубже, еще мрачнѣе...

Встаньте, повторяю, на точку зрѣнія возможности и невозможности, потому что, нѣтъ-нѣтъ, на нее становится самъ Толстой.

Любовь—выше, чище, могущественнѣе денегъ. Это несомнѣнно. Но можно ли было помочь любовью 17 милліонамъ голодающихъ? Безбрачіе, учитъ Толстой въ «Крейцеровой Сонатѣ», выше брака. Зачѣмъ-же въ Послѣсловіи онъ говоритъ: «могій вмѣстити да вмѣститъ», и только? Если все дѣло въ томъ, чтобы вмѣстилъ могій вмѣстить, то ученіе превращается въ обыкновенную проповѣдь морали, спасительность которой относительна.

Въ проповѣди Толстого есть одна сторона, къ которой нельзя не отнестись съ полнымъ уваженіемъ и любовью. Никто такъ рѣзко, какъ онъ, не выставлялъ еще противорѣчій нашей жизни. Но какъ избавиться отъ этихъ противорѣчій? Разрубить-ли Гордіевъ узелъ или развязать его? Разрубить—лучше, пріятнѣе, честнѣе, но это невозможно. А разъ невозможно, то...

Жить, какъ живется? спроситъ читатель.

Такой выводъ дѣлаетъ и самъ Л. Толстой. Но этотъ выводъ совершенно несправедливъ.

Говорить, что необходимо признавать прошлое и считаться съ условіями исторіи, ея традиціей, привычками и устройствомъ организма, зломъ и добромъ нашей жизни, нашими страстями и инстинктами—не значитъ проповѣдывать квіэтизмъ. Кромѣ многихъ грѣховъ у человѣка есть и еще одинъ, неискупимый—грѣхъ самонадѣянности.

Это грѣхъ всякаго безусловнаго нравственнаго ученія.

Я не буду останавливаться на многочисленныхъ противорѣчіяхъ въ ученіи графа Толстого и лишь упомяну о нѣкоторыхъ, самыхъ важныхъ и бросающихся въ глаза. Возьмите его ученіе о женщинахъ. Въ 1884 г. онъ писалъ напр.: «идеальная женщина, по мнѣ, будетъ та, которая, усвоивъ высшее міросозерцаніе своего времени, отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному въ нее призванію—родитъ, выкормитъ и воспитаетъ наибольшее количество дѣтей, способныхъ работать для людей, по усвоенному ею міросозерцанію...» Итакъ, рожать, какъ можно больше рожать. Перечтите теперь «Крейцерову сонату». Смыслъ ея совершенно ясенъ; выходитъ, что самое лучшее совсѣмъ не рожать, и идеальной женщиной оказывается уже не та, которая отдается своему непреодолимо въ нее вложенному призванію, а та, которая это самое призваніе уничтожитъ или разрушитъ въ себѣ.

Противорѣчіе это самое любопытное именно потому, что тутъ рѣчь идетъ о жизни и смерти. Чего собственно хочетъ Толстой—жизни-ли для человѣчества или смерти? Положа руку на сердце—

я этого не знаю и сомнѣваюсь, чтобы кто-нибудь это зналъ и могъ безъ колебанія отвѣтить на поставленный вопросъ. Проповѣдуя упорно—трудовую жизнь, физическую работу, любовь, Толстой, повидимому, проповѣдуетъ жизнь и вѣритъ, что счастливое существованіе человѣка на землѣ не только возможно, но и необходимо; онъ ставитъ каждому ясную и опредѣленную цѣль: нравственное усовершенствованіе; онъ пишетъ страстныя страницы въ защиту того, что хорошая христіанская жизнь легче, чѣмъ та, которую мы ведемъ. Послѣ этого появляется «Крейцерова сената», и въ Ясную Поляну летятъ десятки и сотни вопросовъ: «что лучше: жить или умирать?» «Крейцерова сената» всѣми безъ колебанія была признана за проповѣдь смерти. Въ «Послѣсловіи» Толстой идетъ на компромиссъ и говоритъ, что безбрачіе есть идеалъ, вполнѣ неосуществимый, какъ и всѣ идеалы. *Раньше* ничего подобнаго Толстой никогда не высказывалъ и всегда смотрѣлъ на свое ученіе какъ на такое, которое можетъ быть осуществлено полностью и даже немедленно.

Такія противорѣчія меня нисколько не удивляютъ; удивительно, если-бы ихъ не было. Въ началѣ 60-хъ головъ Толстой недоумѣвалъ, кому у кого учиться—намъ ли у народа, или народу у насъ, и защищалъ и то, и другое мнѣніе; въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ, низведя личность человѣка до дифференціала исторіи, вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдуетъ личное и семейное счастье, какъ лучшее изъ всего, и въ сущности, какъ художникъ, впадаетъ въ еще болѣе рѣзкое противорѣчіе съ собой какъ мыслителемъ, и, удѣляя радостямъ и страданіямъ своихъ дифференціаловъ столько блестящихъ страницъ, такъ успѣваетъ заинтересовать ими читателя, что этотъ послѣдній очень груститъ, когда одинъ дифференціалъ умираетъ, или радуется, когда другая дифференціалка выходитъ замужъ. На почвѣ философіи «Войны и Мира» можетъ быть создана лишь свифтовская сатира или Comedie de la vie humaine. Но графъ Толстой такъ серьезно копается въ душѣ своихъ дифференціаловъ, что эта душа пріобрѣтаетъ несоизмѣримую важность.

Утверждали нѣкогда, что графъ Толстой—великій художникъ и плохой мыслитель. Это совершенно несправедливо: какъ мыслитель, графъ Толстой величина крупная. Онъ блестящій діалектикъ, его мысли всегда оригинальны и глубокое его громадное образованіе несомнѣнно. Его противорѣчія не тѣ, которыя то и дѣло бываютъ у человѣка, плохо думающаго; а *противорѣчія живого человѣческаго сердца, руководимаго однако болѣзненно скептическимъ умомъ.*

Существуютъ формулы въ химіи, въ нравственности, въ обще-

ственной жизни. Существуютъ люди, для которыхъ вся жизнь есть формула, хотя-бы въ родѣ: блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ... Для этихъ людей формула необходима, какъ пища, питье и одежда. Она указываетъ имъ, что сказать, какъ ступить, когда сѣсть, когда улыбнуться и даже—какъ любить; а больше всего она указываетъ, какъ жить, не мучаясь ни нравственными, ни иными противорѣчіями. Формула спасительна: руководясь ею, человѣкъ можетъ быть спокойнымъ и неунывающимъ. Онъ знаетъ, что родителей надо любить, Бога бояться, начальству повиноваться безпрекословно, въ обществѣ держать себя весело,—знаетъ, что не нами міръ начался и не нами этотъ міръ кончится. Формула играетъ для него ту же роль, какъ рельсы для локомотива: и ѣхать легко, и въ сторону никогда никуда свернуть невозможно. Съ формулой тепло, какъ въ шубѣ или у печки, весело, какъ за стаканомъ вина, чувствуешь себя легко и пріятно, какъ въ дружеской компаніи.

Но никогда ни одна формула не могла подчинить себѣ Толстого. Онъ отбросилъ формулу личнаго и семейнаго счастья, формулу воспринятаго ученія; онъ ищетъ истины, какъ Лиръ искалъ покоя въ ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сдѣлать безумными всѣхъ. Тяжело, мучительно жить безъ формулы. Вы, имѣя милліонъ денегъ и всемірную славу, знаете, что сдѣлать по формулѣ; но безъ нея, безъ этой спасительной няни, убаюкивающей и успокаивающей во снѣ—что дѣлать вамъ? Законно ли мое счастье? Не преступна-ли моя жизнь? Не вредны-ли мои дѣла? Ни комфортъ, ни любовь, ни уваженіе не даютъ покоя ищущей душѣ. Судьба Толстого—судьба Агасфера. Таинственный голосъ ежеминутно слышится ему и говоритъ: иди... ищи... иди... ищи... Онъ идетъ и ищетъ. Идетъ въ великолѣпные салоны и находитъ тамъ Борисовъ Друбецкихъ, Вронскихъ, Карениныхъ; идетъ въ помѣстья и находитъ тамъ Ростовыхъ, Нехлюдовыхъ, Болконскихъ; идетъ «къ нимъ» въ народъ, къ Поликушкамъ, героямъ Севастополя... А голосъ не умолкаетъ ни на минуту и прежніе таинственные: «иди... ищи... иди... ищи...» слышатся постоянно. Путникъ усталъ: онъ видитъ, что дорога безконечна, что ея черная лента, какъ былинная змѣя норманновъ, обвиваетъ весь міръ, что въ ея громадномъ кольцѣ нельзя найти начала, исходной точки, что самая жизнь это потокъ, несущійся въ пропасть,—онъ хочетъ отдохнуть, забыться, хочетъ убить себя. Но надо идти... Запыленный, измученный, онъ поднимается опять, съ ужасомъ смотря все въ ту-же и ту-же роковую загадку бытія...

Передъ нами грандіозная картина вѣчнаго безпокойнаго исканія... По легендѣ Агасферъ попадаетъ наконецъ въ Іерусалимъ въ ту роковую минуту, когда Сила предавала распятію и смерти Любовь... Агасферъ вмѣстѣ съ ликующей рабской толпой идетъ по пыльной раскаленной улицѣ, взбирается на Голгоѳу и вдругъ чувствуетъ, что на него упалъ кроткій, страдальческій взглядъ, полный милосердія, состраданія, жалости. Это что-то новое, это уже не прежній повелительный голосъ: иди—ищи... Этотъ взглядъ обѣщаетъ отраду и надежду... «И Христосъ,—заканчиваетъ легенда,—возложилъ на Агасфера крестъ свой...» На Голгоѳѣ Агасферъ остановился и впервые почувствовалъ миръ въ душѣ, этой измученной, надломленной душѣ...

Такова исторія Толстого. Отъ него требуютъ какихъ-то формулъ, упрекаютъ его за противорѣчія. Онъ не можетъ дать формулы: онъ—вѣчное исканіе, частичка того же потока, который мы зовемъ жизнью. Развѣ этотъ потокъ можетъ остановиться?...

XIV.

На вершинѣ славы.

Въ новой фазѣ своихъ вѣрованій Толстой началъ раздавать свое имущество, вести простую трудовую жизнь, усиленно работать съ крестьянами въ полѣ и писать для нихъ книги. Появляются изданія «Посредника», и народныя его книжки милліонами расходятся по всей Россіи. Въ 1886 году онъ говорилъ Данилевскому: «Болѣе 30 лѣтъ назадъ, когда нѣкоторые нынѣшніе писатели, въ томъ числѣ и я, начинали только работать, въ стомилліонномъ русскомъ государствѣ грамотные считались десятками тысячъ; теперь, послѣ размноженія сельскихъ и городскихъ школъ, они, по всей вѣроятности, считаются милліонами. И эти милліоны русскихъ грамотныхъ стоятъ передъ нами, какъ голодные галчаты, съ раскрытами ртами и говорятъ намъ: «господа родные писатели, бросьте намъ въ эти рты достойной васъ и насъ умственной пищи; напишите для насъ, жаждущихъ живого литературнаго слова; избавьте насъ отъ все тѣхъ же лубочныхъ Ерусланов Лазаревичей, Милордовъ Георговъ и прочей рыночной пищи». Простой и честный русскій народъ стоитъ того, чтобы мы отвѣтили на призывъ его доброй и правдивой души. Я объ этомъ много думалъ и рѣшился по мѣрѣ

силъ попытаться на этомъ поприщѣ». Попытки Толстого положили начало цѣлой обширной уже литературы для народа, которая съ каждымъ днемъ все болѣе расширяется, но, къ сожалѣнію, еще и до настоящей минуты не выработала себѣ опредѣленной цѣли и направленія. Проповѣдь смиренія, ненависти и презрѣнія къ умственному труду и т. д.—не рѣдкость въ этихъ грошевыхъ сѣробумажныхъ книжечкахъ.

Но это одна сторона его жизни; другая, во всякомъ случаѣ не менѣе важная, есть личныя его сношенія съ людьми. Сотни посѣтителей со всѣхъ концовъ Россіи, Европы и Америки ежедневно приходятъ къ нему со своими сомнѣніями, страданіями, нерѣшенными вопросами и, подобно покойному Всеволоду Гаршину, уходятъ съ добрымъ чувствомъ, болѣе примиренные съ жизнью. Еще бо̀льшая масса людей обращается къ нему письменно и изъ Сибири, и изъ Америки, и на каждое серьезное письмо онъ шлетъ задушевный отвѣтъ.

Нѣтъ той газеты, нѣтъ того журнала, ни въ Европѣ, ни въ Америкѣ, которые не посвящали бы ему своихъ столбцовъ и зорко не слѣдили бы за каждымъ словомъ, выходящимъ изъ-подъ его пера. Совершенно справедливо замѣчаетъ Н. Н. Страховъ, говоря: «Большую долю всемірной извѣстности Толстого нужно приписать не его художественнымъ произведеніямъ, а именно тому религіозно-нравственному перевороту, который въ немъ совершился и смыслъ котораго онъ стремился высказать и своими писаніями, и своею жизнью». Какъ бы мы ни судили объ этомъ переворотѣ, но очевидно образованный міръ былъ пораженъ зрѣлищемъ человѣка, въ которомъ съ такою силою, безъ всякихъ внѣшнихъ толчковъ, сказались вѣчные запросы души человѣческой. Нужно отдать людямъ честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь ихъ любопытства и уваженія въ такой степени, какъ та душевная исторія, которая совершилась и совершается предъ ихъ глазами въ Ясной Полянѣ. Нѣкто Лиліенбахъ высказываетъ слѣдующее: «во всѣхъ образованныхъ слояхъ обоихъ полушарій Толстой является любимымъ писателемъ». Поль Флоберъ сравниваетъ его съ Шекспиромъ, а Матью Арнольдъ считаетъ его самой мощной силой въ области литературы. Посмотримъ же, какъ живетъ теперь Левъ Николаевичъ. Любопытную картину этой жизни даетъ намъ В. Г. въ своемъ описаніи посѣщенія Ясной Поляны.

«Прибывъ въ Ясную Поляну,—говоритъ онъ,—я засталъ Льва Николаевича за кладкой печи у одной вдовы крестьянки. Я спра-

шивалъ у встрѣчныхъ крестьянъ, не видали ли они Льва Николаевича? Мужики мнѣ отвѣчали съ особеннымъ удовольствіемъ, что графъ уже на работѣ. Войдя въ указанную избу, я засталъ Льва Николаевича передъ печкой. Онъ былъ погруженъ въ работу и лишь изрѣдка перекидывался словомъ съ хозяйкой. Еслибы я раньше не видѣлъ Толстого, я бы на этотъ разъ могъ его принять за кого-нибудь изъ деревенскихъ рабочихъ. Его грязная, вымазанная сажей и глиной бѣлая рубашка, ремешокъ вмѣсто пояса, просторные крестьянскіе сапоги, по голенище запачканные въ глинѣ, вполнѣ гармонировали съ красивой головой и широкой спиной, на которой выступалъ сквозь рубашку обильный трудовой потъ. Хозяйка же, безъ малѣйшаго раболѣпства, даже можно сказать по-товарищески, подавала ему совѣты и вѣроятно въ трудѣ Льва Николаевича не видѣла ничего особеннаго: ей просто помогалъ добрый человѣкъ».

«Послѣ завтрака Л. Н. пошелъ читать или писать, и часа черезъ полтора пришелъ къ той избѣ, гдѣ намѣревался поставить крышу на сараѣ. Онъ оказался въ томъ же нарядѣ, исключая блузы, которую онъ перемѣнилъ на болѣе чистую. Вѣроятно всякому извѣстно, что Л. Н. денежной помощи нуждающемуся человѣку не признаетъ, но у себя въ деревнѣ онъ старается принести посильную помощь крестьянамъ личнымъ трудомъ, доставленіемъ матеріала для построекъ и для посѣва».

Теперь является вопросъ: почему же Л. Н. предпочитаетъ помогать крестьянамъ не деньгами? и этотъ вопросъ задалъ ему В. Г., увидавъ, что дочь графа работаетъ на полѣ одного изъ бѣдныхъ крестьянъ».

«Я думаю,—сказалъ ему Толстой,—что обязанность каждаго человѣка работать для другихъ, кто нуждается въ помощи, и работать по крайней мѣрѣ часть дня своими руками. Лучше работать для бѣднаго и съ бѣднымъ въ его особомъ занятіи, нежели работать на высшемъ, болѣе высокомъ и пожалуй болѣе вознагражденномъ интеллектуальномъ полѣ и давать бѣднымъ результаты. Въ первомъ случаѣ вы не только помогаете тѣмъ, кто нуждается въ помощи, но вы показываете, что вы не считаете ихъ прозаическую работу ниже своего достоинства, т. е. вы научаете ихъ самоуваженію. Если же вы работаете исключительно на вашемъ болѣе высокомъ интеллектуальномъ полѣ и даете бѣдняку результатъ вашего труда, какъ вы давали бы милостыню нищему, то вы поощряете лѣность и подчиненность; вы устанавливаете соціальное, сословное различіе

между вами и принимающими вашу милостыню, вы разрушаете въ немъ уваженіе и довѣріе къ себѣ».

Вернемся къ воспоминаніямъ В. Г. «Итакъ, Л. Н. отправился послѣ завтрака класть крышу на сараѣ бѣдной деревенской вдовы, которой, по примѣру Л. Н , пришелъ помогать сосѣдъ мужичекъ и еще какой-то паренекъ. Этотъ мужикъ, Прокофій, худой, истощенный, заправлялъ работами и дѣйствительно, входя въ роль, командовалъ, какъ слѣдуетъ, безъ стѣсненія. Льву Николаевичу нравилась его новая работа. Онъ съ видимымъ наслажденіемъ подпиливалъ бревна, вырубалъ гнѣзда для стропилъ, обстругивалъ деревянные гвозди. При постановкѣ стропилъ Л. Н. выказалъ значительную силу и ловкость, перетаскивая громадныя бревна и поднимая ихъ вверхъ. Л. Н. строилъ сарай *въ первый разъ и относился* къ этой работѣ съ тою же любовью, какъ и къ кладкѣ печи на краю деревни.

«Всякій день, пока я былъ у Л. Н., онъ послѣ завтрака отправлялся на деревню доканчивать вдовій сарай и возвращался домой поздно. Работалъ онъ неутомимо, такъ что Прокофій не разъ съ сердечнымъ удовольствіемъ говорилъ: «Ишь, ишь, куда полѣзъ дѣдъ. И не смается». Всѣ, кому нужно было видѣть Льва Николаевича, являлись къ нему въ деревню и тутъ же, или помогая ему, или просто сидя на бревнышкахъ среди навоза, бесѣдовали съ нимъ. Во время отдыха, около пяти часовъ, если Л. Н. не уходилъ домой, всѣ усаживались въ ближайшей избѣ и, утоляя свой голодъ хлѣбомъ и квасомъ, снова разсуждали о явленіи борьбы за существованіе и проч.» Въ заключеніе В. Г. говоритъ: «Нужно удивляться Толстому въ его умѣніи распредѣлять свое рабочее время. Постоянно занятый физическимъ трудомъ, развлекаемый массою посѣтителей знакомыхъ и незнакомыхъ, онъ находилъ время отвѣчать на письма, читать, думать и писать самыя разнообразныя вещи, начиная съ разсказовъ для народа и кончая разсужденіями на тему міровыхъ вопросовъ».

Рафаилъ Лёвенфельдъ, посѣтившій Л. Н. въ 1890 году, разсказываетъ, что во время его пребыванія Л. Н. ежедневно отправлялся работать въ полѣ, гдѣ рядомъ съ нимъ помогала крестьянкамъ и дочь его Марья Львовна, и ежедневно къ нему являлись различные посѣтители: то приходила дѣвушка изъ деревни, то пріѣзжали за «Крейцеровой сонатой», то просто издалека являлась какая-нибудь барыня, чтобы увидать его и пожать ему руку. Тутъ же пришелъ изъ дальней деревни крестьянинъ посовѣтоваться съ нимъ о домаш-

нихъ дѣлахъ. Левъ Николаевичъ, внимательно выслушавъ крестьянина, обстоятельно разъяснилъ ему, какъ нужно, по его мнѣнію, во всѣхъ затруднявшихъ его случаяхъ поступать согласно ученію Христа, и крестьянинъ, тронутый до слезъ, удалился, обѣщаясь исполнить все такъ, какъ посовѣтовалъ ему Л. Н. Толстой.

Голодный годъ 1891—92 г. прибавилъ новую блестящую страницу къ біографіи Толстого, которой я и позволяю себѣ заключить свой очеркъ. Мы видѣли, какъ онъ училъ и искалъ правды, какъ переходилъ онъ отъ служенія силѣ къ служенію труду и наконецъ—любви. Любовь завершила циклъ развитія и осѣнила своимъ крыломъ могучую больную душу...

Исторія голоднаго года еще слишкомъ на памяти у всѣхъ насъ, чтобы надо было ее разсказывать. Мы видѣли грустное и печальное зрѣлище громадныхъ пространствъ, занесенныхъ снѣгомъ, подъ которымъ безъ одежды, безъ пищи, безъ дровъ, безъ слова жалобы, а съ тихой покорностью умирали сотни и тысячи людей, не зная, зачѣмъ они жили, еще меньше зная, зачѣмъ они умираютъ... Мы въ это время устраивали филантропическія чтенія и филантропическіе танцы, мы грустили, что такъ все это нехорошо вышло, мы почувствовали въ душѣ обновляющую силу состраданія—увы! не надолго, но мы не знали, что дѣлать. Толстой первый нашелъ выходъ. Вмѣстѣ съ своею семьей онъ первый отправился въ самую среду голодающихъ и, пользуясь своимъ славнымъ именемъ, кормилъ въ устроенныхъ имъ столовыхъ сотни и тысячи людей. Онъ ни на минуту не покидалъ своего поста. Пожертвованія шли къ нему со всѣхъ концовъ Россіи, Европы, Америки. Онъ сдѣлалъ, что могъ, спасая близкихъ отъ голодной смерти.

Наперекоръ своему ученію, онъ бралъ деньги, раздавалъ деньги, помогалъ деньгами. Такъ горячій ключъ, занесенный снѣгомъ, пробиваетъ ледяную кору и жаркой грѣющей струей вырывается наружу. Такъ любящее человѣческое сердце, замолкшее подъ холоднымъ резонерствомъ, начинаетъ биться съ прежней силой любви и состраданія, несмотря на ледяную кору логическихъ аргументовъ, разъ это сердце есть, разъ оно способно любить, сострадать.

Заключеніе.

Толстой началъ свою литературную дѣятельность въ 1851 г., выступивъ «Дѣтствомъ» въ «Современникѣ» Некрасова. «Дѣтство» обратило на себя вниманіе, хотя преимущественно лишь въ кружкахъ, прикосновенныхъ къ литературѣ. «Севастопольскіе разсказы» сдѣлали имя Толстого популярнымъ въ широкой публикѣ, но истинная слава послѣдовала лишь за «Войной и Миромъ» (1865—69 г.). Въ Европу произведенія Толстого стали проникать лишь въ 70-хъ годахъ, хотя сначала довольно туго. Начало ученія относится къ 1881-му году.

Таковъ послужной литературный списокъ графа Толстого, охватывающій собою періодъ 33-хъ лѣтъ. За эти 33 года русская публика смѣнила нѣсколько кумировъ, изъ которыхъ каждому въ свое время поклонялась до-упаду. Въ 50-хъ годахъ первенствовалъ Тургеневъ, въ 60-хъ—Островскій, отчасти Тургеневъ и Писемскій, въ 70-хъ,—какъ ни странно такое сочетаніе именъ,—Достоевскій и Щедринъ, но 80-ые годы почти безраздѣльно принадлежатъ Толстому, который, какъ указалъ я выше, доставлялъ почти всю умственную пищу второй ихъ половинѣ.

Въ литературу эпитетъ «великій» былъ пущенъ Тургеневымъ въ его предсмертномъ письмѣ къ Толстому. Толстой названъ здѣсь великимъ писателемъ земли русской. Тургеневъ, замѣтимъ, имѣетъ въ виду исключительно художественныя произведенія.

Подъ опредѣленіемъ Тургенева нельзя не подписаться, и величіе Толстого, какъ художника, не требуетъ доказательствъ. Мы и не будемъ этого доказывать и, основываясь отчасти на громадной критической литературѣ, отчасти на собственномъ изученіи, постараемся дать оцѣнку художественнаго дарованія Толстого, не надоѣдая читателю восторгомъ и восклицательными знаками.

Сначала о слогѣ. Это не слогъ Тургенева,—гладкій и полированный, носящій на себѣ слѣды тонкой ювелирной работы, красивый и легкій, какъ аѳинскія постройки,—не слогъ Достоевскаго, нервный, пронизывающій, подъ-часъ растрепанный,—это слогъ всегда ясный, простой, сильный, украшенный мѣткими и оригинальными образами и почти всегда небрежный. Въ молодости Толстой заботился о красотѣ и изяществѣ языка: въ «Казакахъ» (1861 г.) есть еще страницы стиля, но, начиная съ статей въ журналѣ «Ясная Поляна», стиль исчезъ. Въ слогѣ Толстого есть многое, что напоминаетъ ха-

рактеристику его внѣшности, данную какъ-то Тургеневымъ: «Это,— писалъ Тургеневъ, — человѣкъ высокаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенскою жизнью (rustique). Не совсѣмъ правильныя черты лица обличаютъ умъ необыкновенный». Въ этомъ портретѣ вы какъ бы узнаете героя-богатыря, Микулу Селяниновича нашей литературы. Толстой на самомъ дѣлѣ не заботится о фразѣ и не боится сдѣлать стилистическую ошибку. Къ красивымъ, изящно построеннымъ фразамъ онъ питаетъ искреннее отвращеніе, и это отвращеніе появилось у него уже въ юности. Тогда онъ между прочимъ нападалъ на Пушкина за то, что тотъ писалъ стихами. Стиховъ Толстой не любитъ и теперь, хотя самъ два раза согрѣшилъ въ этомъ отношеніи — оба раза впрочемъ въ шутку. Стилистическихъ неправильностей можно найти не мало даже на лучшихъ страницахъ «Войны и Мира», но странно, этотъ не всегда красивый и всегда небрежный слогъ въ концѣ концовъ начинаетъ нравиться вамъ больше всякаго другого, все равно какъ некрасивое даже лицо любимой женщины нравится вамъ больше, чѣмъ лицо Мадонны. Слогъ Толстого, какъ и все толстовское, подкупаетъ и порабощаетъ васъ своей мощью, запасомъ громадной, заключенной въ немъ, силы и наконецъ своей ясностью и точностью. «Разница между мною и Пушкинымъ та,—говорилъ Толстой Берсу,— что Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится о томъ, будетъ ли она замѣчена и понята читателемъ, а я какъ бы пристаю къ читателю съ этою художественной подробностью, пока ясно не растолкую ее». Прибавить лишнюю вводную фразу или лишнее придаточное предложеніе Толстой не остерегается. Онъ пишетъ, точно домъ строитъ на каменномъ фундаментѣ, и знать не хочетъ, будетъ ли это красиво: главное, чтобы было тепло, удобно, прочно и, что за бѣда, если какой-нибудь флигель (придаточное предложеніе) выпятится впередъ?

Отсутствіе фразы въ стилѣ вводитъ насъ въ самую глубь психологіи Толстого какъ художника: онъ всегда и неизмѣнно искренній. Онъ пишетъ то, что думаетъ, и только такъ, какъ думаетъ. Это очень важное обстоятельство, и не могу удержаться, чтобы не напомнить маленькаго остроумнаго разсужденія Берне на эту тему: «Удивительная вещь, этотъ письменный столъ, это перо, бумага и чернильница! Кажется, нѣтъ болѣе невинныхъ предметовъ, а между тѣмъ... Я знаю людей умныхъ, честныхъ, безусловно правдивыхъ, но стоитъ имъ только взять въ руки невинное перо, придвинуть къ себѣ невинный листъ бумаги и сѣсть за невинный письменный

столъ, какъ сейчасъ же они начинаютъ писать не то, что думаютъ, или по крайней мѣрѣ не такъ, какъ думаютъ. Что̀ бы это значило— не знаю, но я знаю вотъ что: человѣкъ, который за письменнымъ столомъ не можетъ быть такъ же искрененъ, какъ самъ съ собой, съ своимъ другомъ, съ любимою и преданною женщиною, никогда, даже подъ угрозой личнаго знакомства съ Меттернихомъ, не долженъ садиться за невинный столъ и брать въ руки невинное перо. Моя статья—мое родное излюбленное дѣтище, а не любовница, купленная за деньги»... Такъ писать, какъ того требуетъ Берне, могутъ лишь литературные избранники, и даже не всѣ литературные избранники, потому что Цицеронъ, Петрарка, Гейне несомнѣнно дѣлали фразы. Чтобы перетъ письменнымъ столомъ сохранить полную искренность, не дать себя увлечь въ сторону стиля ни одной случайности— надо видѣть въ своихъ созданіяхъ родное дѣтище и понимать, что это дѣтище ищетъ правды и будетъ въ сущности живо лишь этой правдой. Небрежный въ слогѣ, Толстой по 30—40 разъ передѣлываетъ каждое свое произведеніе, а его гигантская эпопея «Война и Миръ» переправлялась и переписывалась *семь* разъ. Искренность всегда проста, и въ сущности идеально простъ слогъ Толстого: его фразы, какъ вѣтви и листья дерева, располагаются свободно и просто, нисколько не заботясь, какое впечатлѣніе произведутъ они на глазъ просвѣщеннаго туриста.

Лишенный фресокъ и арабесокъ, слогъ Толстого эпически спокоенъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда нервности, присущей Достоевскому, нѣтъ лирическихъ порывовъ и даже лирическаго безпорядка многихъ страницъ Гоголя. Толстой пишетъ, какъ будто рѣшаетъ сложную математическую задачу со множествомъ неизвѣстныхъ, понимая, что пропустить что нибудь, самую мелочь, самую простую подстановку, значитъ непремѣнно придти къ ошибкѣ и невѣрности. Эпическое спокойствіе изложенія есть одна изъ характернѣйшихъ особенностей художественнаго дарованія Толстого. Она зависитъ отъ многаго и прежде всего отъ громадной, почти феноменальной художественной памяти великаго писателя земли русской.

«Толстой помнитъ всѣ жизненные процессы такъ счастливо, что, вызывая ихъ изъ прошлаго въ своемъ воображеніи, онъ ихъ можетъ списывать съ дѣйствительности по-секундно, какъ если-бы они развертывались передъ нимъ живьемъ и во всякую минуту останавливались по его волѣ передъ его умственнымъ взоромъ, чтобы онъ успѣвалъ захватить изъ нихъ всѣ необходимыя ему подробности. Понятно поэтому, что, поставленный

лицомъ къ лицу съ этой волшебной, ярко вспыхнувшей картиной въ качествѣ спокойнаго наблюдателя, Толстой можетъ, такъ сказать, сотворять минувшую дѣйствительность во второмъ экземплярѣ, безъ всякой фальши, пораждаемой забвеніемъ характернѣйшихъ частностей событія или, наоборотъ, вызываемой важною окраской произвольными ретушами того, что когда-то было такъ просто и что невольно кажется изъ отдаленія чѣмъ-то непомѣрно значительнымъ. Часто бываетъ, что писатель въ своемъ отношеніи къ нѣкогда пережитому событію смѣшиваетъ впечатлѣнія прошлаго и переноситъ чувства, навѣянныя однимъ событіемъ, на другое, хотя и сродное съ изображаемымъ, но во многомъ отъ него отличное, — смѣшиваетъ различные источники радости, грусти, тревоги и т. д. Съ Толстымъ ничего подобнаго не можетъ случиться. Для него не существуетъ никакихъ обмановъ зрѣнія, когда онъ смотритъ въ перспективы прошлаго. Читая толстовское описаніе бала, смерти, дождя, родовъ, сраженія, переѣзда на дачу, раздумья въ кабинетѣ, вѣнчанія и т. д.,—вы удивляетесь не только всеобъемлемости воспоминаній автора, но и упорной энергіи самаго описательнаго процесса. Этому художнику совсѣмъ невѣдомы такіе житейскіе факты, которые бы, несмотря на кажущуюся незначительность, не раскрыли бы въ себѣ, при ближайшемъ вниманіи, своихъ интересныхъ особенностей. Поэтому, за что бы ни взялся Толстой, онъ можетъ вамъ дать цѣлую главу—и вы, ни мало не безпокоясь о пріостановившейся фабулѣ романа,—начинаете входить въ матерію какого-нибудь самаго будничнаго эпизода съ неизмѣнно живымъ, возрастающимъ участіемъ».

«Спокойствіе и выдержка творческаго процесса у Толстого дѣлаютъ то, что въ предметахъ, неизбѣжно волнующихъ самого писателя, Толстой никогда не дѣлаетъ пропусковъ противъ жизни, и сколько бы ни была тяжела и мучительна тема, — Толстой никогда не утомится настолько, чтобы прозѣвать правду и придти, подъ вліяніемъ собственной надорванности, въ концу ранѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Такъ онъ провелъ Ивана Ильича черезъ всѣ мытарства долгаго умиранія, отъ простого ощущенія неловкости до нестерпимыхъ болей, сопровождаемыхъ безсознательнымъ, животнымъ выкрикиваньемъ одного лишь страшнаго звука «у! у!..»

(С. А. Андреевскій).

Вторая причина эпическаго спокойствія изображенія—это выстраданная и выношенная страсть, которая чувствуется за каждой страницей, вышедшей изъ-подъ пера Толстого. Изъ біографіи чита-

тель видитъ, что если Толстой и выражаетъ просто свои мысли, то приходитъ онъ къ своимъ мыслямъ не только не просто, а путемъ самыхъ жестокихъ внутреннихъ мукъ. Не знаю, былъ ли онъ счастливъ когда-нибудь въ своей жизни: онъ о своемъ счастьѣ упоминаетъ только одинъ разъ въ письмѣ къ Фету, двѣ недѣли послѣ свадьбы. А Левину, двойнику Толстого, его личное счастье постоянно кажется ненатуральнымъ, неестественнымъ, отчасти даже преступнымъ. Я думаю, всякій замѣчалъ или читалъ по крайней мѣрѣ, что сильные люди спокойны въ самыя критическія минуты, хотя-бы это было спокойствіе смерти. Признаюсь откровенно (быть можетъ это крайность), эпическій тонъ Толстого въ нѣкоторыхъ сценахъ, напр. въ сценѣ убійства Верещагина или смерти Андрея Болконскаго, напоминаетъ мнѣ спокойствіе могилы, въ которой бьется, рычитъ и корчится зарытый въ нее живой мертвецъ.

Третья причина эпическаго изложенія Толстого—его громадный аналитическій умственный аппаратъ. Эта особенность генія Толстого отмѣчена давно и блестяще проявилась уже въ «Дѣтствѣ»; кульминаціоннаго же пункта она достигла, по моему мнѣнію, въ «Смерти Ивана Ильича». Иностранные и русскіе критики зовутъ Толстого художникомъ анатомомъ и видятъ въ этихъ анатомическихъ пріемахъ творчества причину и силы, и слабости автора «Войны и Мира». Выступая въ печати съ своимъ пронизывающимъ психологическимъ анализомъ, Толстой рисковалъ быть непонятымъ, потому что, наполняя свои страницы длинными монологами дѣйствующихъ лицъ—этими причудливыми молчаливыми бесѣдами людей про себя, Толстой создавалъ совершенно новый смѣлый пріемъ въ литературѣ: такихъ монологовъ до него не писалъ еще никто. Но онъ заставилъ слушать себя, заставилъ читателя, затаивъ дыханіе, слѣдить за безконечной вереницей мыслей, пробѣгающихъ въ головѣ его героевъ, за всѣми мимолетными настроеніями ихъ сердца, за всѣми прихотливыми арабесками ихъ фантазіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, почему въ крупныхъ произведеніяхъ Толстого нѣтъ, строго говоря, ни одного лица, которое мы могли бы любить или ненавидѣть? Ни Наташа Ростова, захватывающая сначала читательское сердце своей жизнерадостной молодостью, ни Пьеръ Безуховъ, этотъ толстый добродушный умный человѣкъ, не могутъ стать нашими любимцами. Все равно какъ въ житейскихъ отношеніяхъ ни привязанность, ни дружба, ни любовь не устоятъ, разъ вскрыты всѣ душевные тайники любимаго человѣка, такъ и въ искусствѣ, въ романѣ. Герои Тургенева являются всегда передъ нами при нѣсколько фантасти-

ческомъ освѣщеніи, какъ бы при лунномъ свѣтѣ или свѣтѣ молніи; герои Толстого всегда, по счастливому выраженію С. А. Андреевскаго, ходятъ съ освѣщенными внутренностями, и въ концѣ концовъ мы, подъ очаровательной жизнерадостностью Наташи Ростовой, видимъ лишь эгоизмъ самки, за философіей Андрея Болконскаго— его сословную гордость, за достоинствами Безухаго—его самодовольство, иногда, какъ въ эпилогѣ напр., просто даже обидное. Раньше мы видѣли, что громадный аналитическій аппаратъ Толстого роковымъ образомъ велъ его къ пессимизму и меланхоліи: Толстой слишкомъ всматривался въ себя и людей, чтобы не разглядѣть въ глубинѣ души каждаго изъ насъ чего-нибудь очень и очень далекаго отъ совершенства.

Такія-то стороны генія Толстого создали его стиль—этотъ ясный, точный стиль, привлекающій читателя не красотой, не изяществомъ, а своей силой, серьезностью, искренностью. Не торопясь, не нервничая, Толстой шагъ за шагомъ подчиняетъ себѣ воображеніе и умъ читателя; накладывая штрихъ на штрихъ, онъ рисуетъ своихъ героевъ, точно высѣкая изъ мрамора. Отъ каждаго удара молотка отдѣляется лишь нѣсколько пылинокъ камня; нужны сотни тысячъ этихъ ударовъ, чтобы изъ глыбы вышла фигура; нужны тысячи штриховъ, чтобы портретъ Толстого былъ готовъ. Какъ Гомеръ, описывая щитъ Ахиллеса, не пропускаетъ ни одной линіи, такъ и Толстой не пропускаетъ ничего изъ душевной жизни своихъ героевъ...

Онъ реалистъ въ полномъ смыслѣ этого слова, хотя его реализмъ имѣетъ много особенностей, носящихъ на себѣ рѣзкую печать огромной его индивидуальности. Французы, любящіе формулы, называютъ этотъ реализмъ «идеалистическимъ», противопоставляя его реалистическому натурализму Флобера, Зола, Мопасана. Посмотримъ, въ чемъ тутъ суть. Прежде всего замѣтимъ, что Толстой почти никогда не выдумываетъ. Большая часть его произведеній носитъ автобіографическій характеръ. Въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ», «Юности» онъ разсказалъ свои собственныя дѣтство, отрочество и юность; въ «Утрѣ Помѣщика» —свои собственныя неудачныя попытки осчастливить крестьянъ по программѣ просвѣщеннаго помѣщика; въ «Люцернѣ»—свои собственныя заграничныя впечатлѣнія, какъ въ севастопольскихъ разсказахъ то, что онъ видѣлъ въ дни знаменитой осады. «Война и Миръ» явилась плодомъ долгаго изученія историческихъ документовъ, относящихся къ 12-му году, и кромѣ того здѣсь масса лицъ, списанныхъ съ натуры. Пьеръ Безуховъ напр.—

одно изъ воплощеній самого Толстого; Марія Болконская—его мать, Николай Ростовъ—отецъ, и т. д. Разумѣется, Толстой то и дѣло отступаетъ отъ факта, но излишняго простора своему воображенію онъ не даетъ никогда. Въ «Аннѣ Карениной» мы видимъ то же самое, такъ какъ трудно не узнать въ Левинѣ самого Толстого, и извѣстная сцена объясненія въ любви между Левинымъ и Китти произошла въ дѣйствительности въ 1862-мъ году между самимъ Толстымъ и Софьей Андреевной Берсъ, теперь графиней Толстой. Біографію Толстого можно смѣло написать по его собственнымъ произведеніямъ, и она выйдетъ полной, особенно во всемъ, что касается душевной жизни великаго писателя. Не упоминаю уже объ «Исповѣди», гдѣ Толстой раскрылъ свою душу съ такою откровенностью, съ какой никто раньше его не дѣлалъ, даже Руссо, хвастающій искренностью въ своихъ Confessions, вся послѣдняя часть которыхъ оказывается однако бредомъ человѣка, страдающаго маніей преслѣдованія. Толстой разсказалъ намъ все—и крупное, и мелкое изъ своей жизни, не забылъ даже исторію своихъ собакъ Милки и Бульки, эпизода на медвѣжьей охотѣ, когда медвѣдица едва не разгрызла ему черепа, ни того, какъ онъ едва не попался въ плѣнъ на Кавказѣ. Эготизмъ Толстого постояненъ, и онъ ни на минуту не можетъ отказаться отъ него, даже когда выводитъ на сцену не себя, а другихъ людей.

„Надъ печалями и радостями его лицъ всегда витаетъ все тотъ же знакомый намъ геній; мы знаемъ, что онъ, этотъ геній, разберетъ по косточкамъ каждое ихъ горе и каждую радость и дастъ намъ свои выводы о жизни,—выводы человѣка, одареннаго глубочайшимъ проникновеніемъ въ нѣдра дѣйствительности, который пронизываетъ эту дѣйствительность до самыхъ сокровенныхъ ея тайниковъ, побуждаемый неутомимымъ исканіемъ истины,—и который во всѣхъ направленіяхъ съ горечью наталкивается въ концѣ концовъ на зловѣщее сѣрое пятно, заслоняющее собою всякія дальнѣйшія исканія“.

(С. А. Андреевскій).

Толстой въ одной изъ самыхъ послѣднихъ своихъ статей, именно въ предисловіи къ переводу дневника Аміэля, замѣтилъ между прочимъ:

«Писатель вѣдь дорогъ и нуженъ намъ *только въ той мѣрѣ, въ которой онъ открываетъ намъ внутреннюю работу своей души,* само собой разумѣется, если работа эта новая, а не сдѣлан-

пая прежде. Что бы онъ ни писалъ: драму, ученое сочиненіе, повѣсть, философскій трактатъ, лирическое стихотвореніе, критику, сатиру, — намъ дорога въ произведеніи писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, въ которую онъ, большею частью, да я думаю и всегда, уродуя ихъ, укладываетъ свои мысли и чувства».

Слова эти какъ нельзя лучше приложимы къ самому Толстому: намъ-то онъ и дорогъ прежде всего потому, что открываетъ внутреннюю работу своей души, и работа эта дѣйствительна нова.

Итакъ, самонаблюденіе, никогда не покидающее Толстого, его собственная семейная хроника и историческіе документы, на изученіе которыхъ онъ тратитъ цѣлые годы,—вотъ почва его реализма... Но, повторяю, это реализмъ особенный, уживающійся съ безмѣрною субъективностью и въ высшей степени оригинальнымъ идеализмомъ какъ въ научномъ, такъ и въ обыденномъ значеніи этого слова.

По словамъ Вогюэ, Толстой всегда остается «высшимъ судьей своихъ персонажей, какъ президентъ суда относительно подсудимыхъ». Типы Толстого одинъ изъ русскихъ критиковъ называетъ «замаскированными приговорами». Это совершенно справедливо и это нисколько не мѣшаетъ реализму. «Толстой, продолжаетъ Вогюэ, отводитъ мѣсто тривіальности, потому что она встрѣчается въ жизни и потому еще, что онъ желаетъ живописать жизнь во всей ея полнотѣ; но такъ какъ онъ не чувствуетъ пристрастія къ сюжетамъ тривіальнымъ, то онъ даетъ имъ мѣсто второстепенное, какое они занимаютъ и въ дѣйствительности. На улицѣ, въ гостяхъ наталкиваешься иногда на отвратительные предметы; рѣдко гдѣ ихъ не встрѣтишь. Толстой показываетъ какъ разъ то, что слѣдуетъ, чтобы не заподозрили, что улица и домъ заранѣе прибраны». Не избѣгая такъ называемыхъ соблазнительныхъ сценъ, Толстой однако отличается полнымъ цѣломудріемъ своей фантазіи, такъ что его произведенія, даже «Анну Каренину», можно дать любой неиспорченной дѣвушкѣ, не боясь, что чтеніе испортитъ ее. Если онъ то и дѣло изображаетъ пошлость, мелочность, эгоизмъ, чисто животно ожесточенныя половыя страсти—то кто же виноватъ въ этомъ. Но рядомъ съ этимъ онъ отводитъ то и дѣло мѣсто *героизму*—чувству, которое онъ повидимому наиболѣе цѣнитъ въ человѣкѣ. Та страсть, которую Фурье называлъ унитой (страстью единенія), страсть, возводящая въ высокую степень волю отдѣльнаго человѣка, и для Толстого, какъ для Фурье, является вѣнцомъ человѣческой природы.

Реалистъ до мозга костей, Толстой идеалистъ уже потому, что онъ всегда тенденціозенъ, что онъ всегда моралистъ. Моральный элементъ онъ считаетъ необходимымъ въ каждомъ художественномъ произведеніи; онъ винитъ Гете за отсутствіе этого моральнаго элемента и радуется, видя его у Лермонтова. Свой разрывъ съ петербургскими литературными кружками, гдѣ въ 50-хъ годахъ процвѣтало чистое искусство, Толстой объяснялъ гордыми словами: «Я буду писать, но не такъ, какъ вы, потому что я знаю, *зачѣмъ* я буду писать». Зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы проповѣдывать, учить, потому что Толстой столько же художникъ, сколько моралистъ, философъ. Онъ хочетъ, какъ Сократъ, учить людей *благу*. Правда, смыслъ этого блага часто мѣнялся въ теченіе тридцати-трехъ-лѣтней литературной дѣятельности, пройдя черезъ три момента опредѣленія: *силу*, обезпечивающую личное благо, *трудъ*—обезпечивающій общее благо, *любовь*, обезпечивающую блаженство. Мы еще вернемся ко всему этому, пока же замѣтимъ, что послѣдняя формула, къ которой пришелъ Толстой и которую онъ проповѣдуетъ, такова: «Миръ между людьми есть высшее доступное на землѣ благо людей».

Итакъ, передъ нами художникъ и моралистъ, поэтъ и философъ, реалистъ и идеалистъ. Мы видѣли источники толстовскаго реализма, которые перечислили, кажется, всѣ, начиная съ огромной памяти и кончая изученіемъ историческихъ документовъ. Гдѣ-же источники идеализма? Ихъ два:

1) религіозность;

2) народничество.

Изъ всего того, что написалъ Вогюэ о Толстомъ — а онъ написалъ очень много умнаго, — мнѣ больше всего нравится одно блестяще развитое французскимъ критикомъ положеніе: «За всѣмъ, что изображено Толстымъ, говоритъ Вогюэ, — чувствуется присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго»... Это присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго поражаетъ французскаго критика, но оно не должно поражать насъ, русскихъ читателей, потому что Толстого мы узнали послѣ Гоголя, Достоевскаго и—хотѣлось бы прибавить — Лермонтова. Это что-то огромное, страшное таинственное есть загадка человѣческой жизни. Позволю себѣ привести изъ «Войны и Мира» страницу, которую справедливо считаютъ характернѣйшей для пониманія Толстого. Вотъ эта страница:

«Только выпивъ бутылку или двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тотъ запутанный, *страшный узелъ жизни*, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось.

Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ обѣда и ужина, онъ безпрестанно видѣлъ этотъ узелъ какою-нибудь стороной его. Но только подъ вліяніемъ вина онъ говорилъ себѣ: «Это ничего. Это я распутаю—вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда, — я послѣ обдумаю все это!» Но это *послѣ* никогда не наступало.

«Натощакъ, поутру, всѣ прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходилъ къ нему.

«Иногда Пьеръ вспоминалъ о слышанномъ имъ разсказѣ о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: «кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Нѣтъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умѣю!» думалъ Пьеръ.—*Только бы не видѣть ее, эту страшную ее*».

Только-бы не видѣть ее! Да развѣ вся драма жизни Толстого не въ этомъ восклицаніи? Развѣ не приходилось ему десятки, сотни разъ завидовать людямъ, у которыхъ на все готовыя формулы, на все готовыя меню—на обѣдъ и ужинъ, на любовь и бракъ, на радость и горе, на умъ и глупость?... Всю долгую жизнь смотрѣла на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь видѣлъ онъ передъ собой таинственную пропасть вѣчности. Онъ сказалъ недавно объ Аміэлѣ вотъ что:

«Въ продолженіе всѣхъ 30-ти лѣтъ своего дневника онъ чувствуетъ то, что̀ мы всѣ такъ старательно забываемъ,—то, что мы всѣ приговорены къ смерти и казнь наша только отсрочена. И отъ этого-то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга».

Да, страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался — такова красная нить жизни Толстого. Онъ искалъ забвенія въ карточной игрѣ, въ кутежахъ, въ поцѣлуяхъ любимой женщины, въ низведеніи человѣческой личности, а значитъ и себя самого, къ дифференціалу, т. е. безконечно малой величинѣ исторіи, въ религіозномъ и нравственномъ резонерствѣ и... что̀-же онъ нашелъ? Спокойствіе духа... Изъ-за этого не стоило хлопотать такъ долго, не стоило такъ много страдать... Противопоставьте все то, что̀ говорилъ Толстой о знаменитыхъ упряжкахъ, общемъ благѣ, общемъ счастьѣ и пр.—раскрытой могилѣ, гдѣ скроются и упряжки,

и физическій трудъ, и семейное счастье, и общее счастье — и вы получите тотъ самый нуль, съ котораго началъ графъ Толстой.

Но это исканіе и есть источникъ идеализма Толстого. Ему, какъ живому человѣку, нуженъ Богъ, во имя котораго можно даже уничтожить себя. Онъ искалъ Бога всю жизнь и нашелъ его наконецъ, какъ и слѣдовало, на Голгоѳѣ. Этотъ Богъ—любовь, самоотреченіе.

Чтобы *тебя* не было—вотъ единственный путь человѣческаго счастья. Возьми семью и уйди въ ея жизнь. Такъ сдѣлалъ Левинъ. Возьми народъ и уйди въ его жизнь. Такъ сдѣлалъ самъ Толстой. Возьми любовь и претвори въ ней свой эгоизмъ — такъ сдѣлалъ опять-таки самъ Толстой. Только чтобы тебя не было, не было бы твоей требовательной, себялюбивой личности, иначе — страхъ смерти, ужасъ смерти, невозможность примириться со смертью...

Какъ и Достоевскому, религіозная проблема всегда представлялась Толстому наиважнѣйшей. Какъ онъ самъ, такъ и всѣ его герои, заняты прежде всего исканіемъ Бога. Андрей Болконскій и Безуховъ въ «Войнѣ и Мирѣ», Левинъ въ «Аннѣ Карениной», десятки другихъ лицъ, несмотря на свою внѣшнюю счастливую обстановку, постоянно ощущаютъ какую-то неудовлетворенность, отравляющую имъ лучшія минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не могъ унизиться до протокола... Надѣляя главныхъ своихъ дѣйствующихъ лицъ муками невѣрующей души, ставя ихъ то и дѣло съ глазу на глазъ съ загадкой жизни, Толстой этимъ самымъ то и дѣло задаетъ себѣ и рѣшаетъ нравственно религіозные вопросы.

Въ отвѣтахъ, которые онъ даетъ, можно замѣтить всегда одну характерную особенность. Толстой практиченъ. Его тянетъ къ работѣ, къ дѣятельности. Изъ религіи онъ прежде всего извлекаетъ ея дѣйственный элементъ. Вопросъ о смыслѣ жизни то и дѣло подмѣняется у него вопросомъ: «что же мнѣ дѣлать?»...

Второй источникъ идеализма Толстого — его народничество. Съ народничествомъ русскій читатель знакомъ хорошо, поэтому мнѣ нечего особенно о немъ распространяться. Въ современной своей формѣ оно явилось въ сороковыхъ годахъ и въ основѣ его лежало состраданіе и любовь къ крѣпостному безправному мужику. Съ той поры Антонъ Горемыка, Хори и Калинычи заполонили нашу литературу. Въ семидесятыхъ годахъ было въ шутку замѣчено, что сквозь толпу литературныхъ мужиковъ такъ же трудно протолкаться, какъ за десять лѣтъ передъ тѣмъ сквозь «жаждущихъ знанія и просвѣщенія» барышень. Народничеству или отдали свою дань, или безъизмѣнно

служили почти всѣ замѣчательные писатели земли русской. Списокъ ихъ длиненъ: Григоровичъ, Тургеневъ, Щедринъ, Достоевскій, Рѣшетниковъ, М. Вовчокъ, В. Слѣпцовъ, Гл. Успенскій, Л. Толстой, В. Короленко и т. д.—все это народники, хотя, разумѣется, каждый по своему. По своему народникъ и Л. Толстой. Съ его легкой руки, между прочимъ, привилась литературная тема о стремленіи интеллигента сблизиться съ народомъ и въ немъ найти правду жизни. Теперь это тема совсѣмъ захватанная, но въ 61-мъ году она имѣла всю прелесть новизны, разработанная къ тому же вѣроятно въ лучшемъ изъ чисто художественныхъ произведеній Толстого—повѣсти «Казаки».

Противопоставленіемъ народа и интеллигенціи Толстой занимается постоянно. Этому противопоставленію посвящены всѣ кавказскіе и севастопольскіе разсказы, «Утро помѣщика», «Три смерти», лучшія страницы изъ «Войны и Мира», «Плоды просвѣщенія». Толстой несомнѣнно идеализируетъ народную жизнь, хотя бы и испорченную уже фабрикой, солдатчиной и пр. Мерзость этой жизни, выставленная во «Власти Тьмы», какъ бы уравновѣшивается фигурой старца Акима, душа котораго младенчески чиста. Мы выше подробно разобрали народническія тенденціи графа Толстого; мы видѣли, съ какими запросами обращалась къ народу его надломленная интеллигентная душа, съ какимъ напряженіемъ искалъ онъ правды въ дѣтски безсвязныхъ рѣчахъ Каратаева, какъ томила его громадность долга нашей цивилизаціи передъ народомъ... Всему этому посвящена наша біографія.

БИБЛИОТ

КОНЕЦЪ.

Stanford University Libraries
3 6105 124 449 567

P 3

Stanford University Libra
Stanford, California

Return this book on or before date